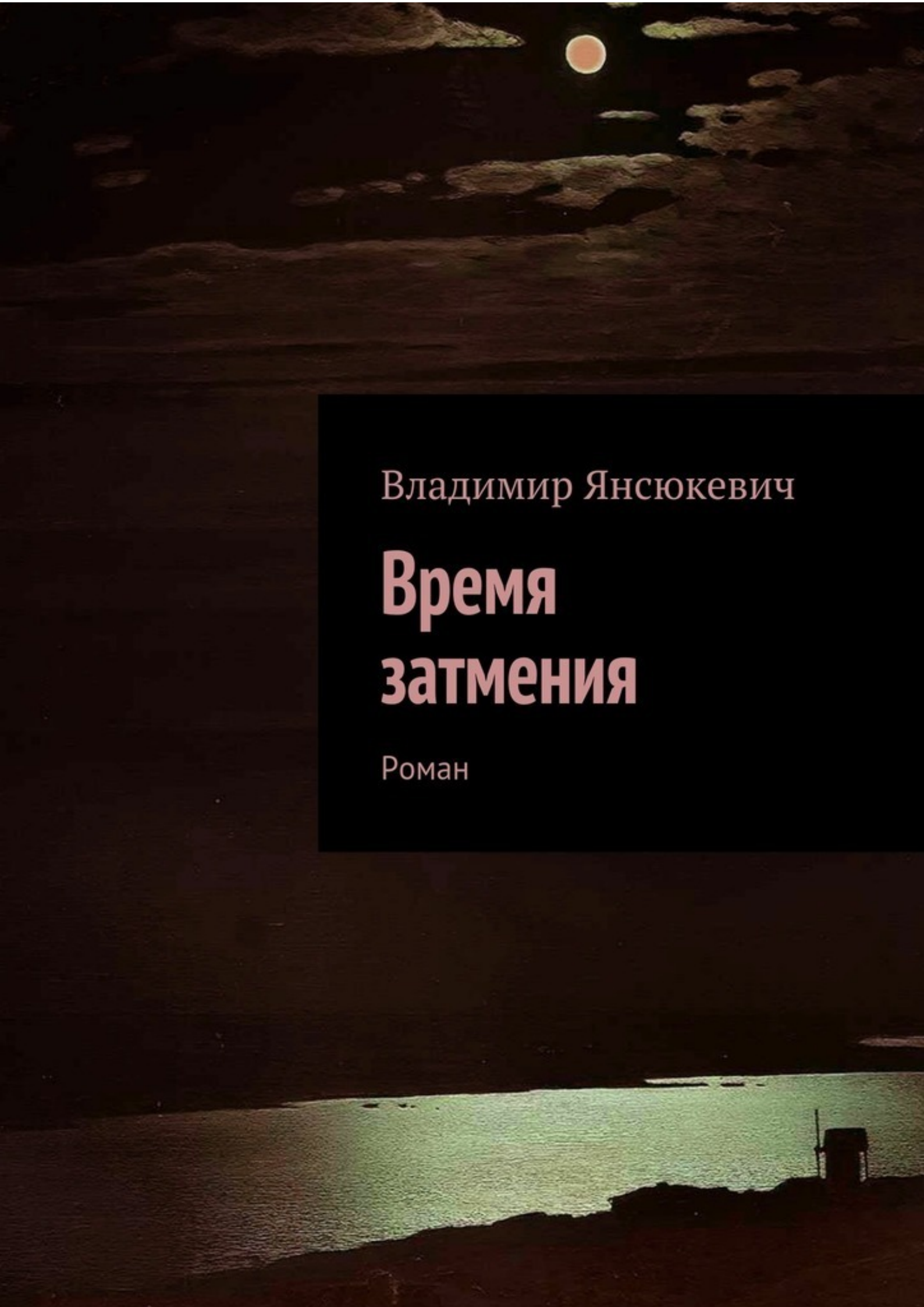




Владимир Янсюкевич

Время затмения

Роман

Владимир Янсюкевич
Время затмения. Роман

«Издательские решения»

Янсюкевич В.

Время затмения. Роман / В. Янсюкевич — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837130-1

Потомственный кирпичный мастер Данила Гончаров в 90-е годы, как и вся страна, переживает не лучшие времена. Разорение предприятия и непримиримый конфликт с братом вынуждает его отправиться на заработки в город...

ISBN 978-5-44-837130-1

© Янсюкевич В.
© Издательские решения

Содержание

1. Воля Творца	6
2. Блудная дочь	31
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Время затмения

Роман

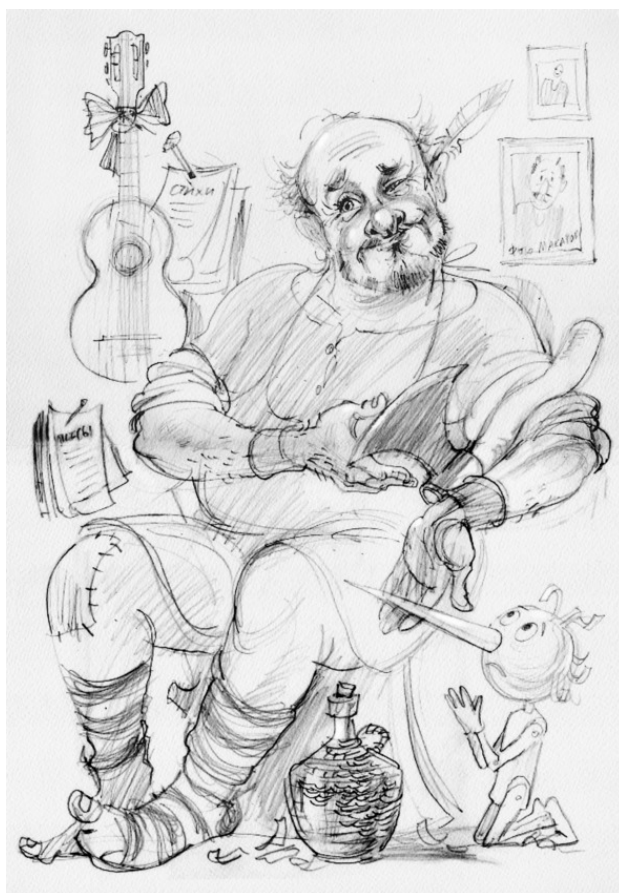
Владимир Янсюкевич

© Владимир Янсюкевич, 2017

ISBN 978-5-4483-7130-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Моему сыну Фёдору.



Юмористический портрет автора работы художника Игоря Макарова. 2004 год.

*...мы с тобой не собьёмся с пути,
потому что дороги не знаем.*

Из песни

*...Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси
сделать один сосуд
для почётного употребления,
а другой для низкого?..*

Из Послания к Римлянам святого апостола Павла

1. Воля Творца

1

Чтобы сократить путь, Данила свернул к реке, на свой страх и риск пересёк её по льду и углубился в леса. Дорога до трассы, ведущей в Город, да ещё по снегу, была долгой, и пока он шагал по морозной целине, сверкающей девственной белизной, обходил заснеженные деревья и протапывал дедовыми унтами тропинку в сугробах, невольно погрузился в воспоминания.

Прежде всего, ему вспомнились праздничные поездки к деду с бабкой, к старому лесничему (первенец отца был назван в честь деда) Даниле Трофимовичу Гончарову и его жене Глафире Тимофеевне или бабе Глаше; то было время счастливой детской безответственности, и он невольно прятался за него, как прячется улитка в свой домик, стараясь укрыться от проблем настоящего. Поездки было много. Но они слились у него в одну и превратились в идиллическую картину, не лишенную поэтических домыслов...

Разговаривали у костра под звёздным шатром надвинувшейся ночи.

– Деда, а деда, а из чего Бог слепил первого человека? – спросил вдруг маленький Данилка.

Крякнул дед внушительно, звучно потянул ноздрями, и борода его пошла волнами во все стороны.

– Это кто ж тебя про Бога надоумил?

– Ба-абушка...

Всю свою жизнь старый лесник надеялся только на себя и о Боге не ведал. Он и с бабкой в молодые годы по первости спорил – сказки всё это! – а потом махнул рукой: пускай верует, никому от этого вреда не сделается. А тут, от простого детского вопроса, вдруг растерялся...

– Известно из чего... из глины.

– А Он сам догадался его слепить? Или кто похлопотал?

– Да кто ж мог похлопотать! Не было никого. Сам, Данилка. Схотел и слепил.

– А для чего Он его слепил?

– Как, для чего? Для эксперименту. Дай, думает, погляжу, что из того получится.

– И что получилось?

Подался дед назад, упёрся руками в коленки, глазами – в небо...

– Что получилось, то получилось, – и прибавил: – Ничо, Данилка, у тебя много годов впереди. Супорничаешь, сам докопаешься.

Божьи дела туманные, сразу не разберёшься, и дед сменил тему.

– Значит, приехал деда с бабкой навестить... Одобряю. А по какому случаю Витьку с собой не прихватил? Опять не поделили чего? Братьям следует жить в мире. А, тёзка?

Данилка взглянул на деда исподлобья, и уголки его рта медленно поехали вниз...

Дед, служивший в местном лесничестве, в праздничные дни решил поработать на себя. Спозаранку устроил в своём личном хозяйстве субботник: поправил, подлатал кое-где похилившийся за зиму штакетник, прошёлся граблями по огороду, выгреб лежалые листья из-под яблонь, вычистил курятник, постелил соломки кабанчику, разложил всё по полочкам в сарае, а ближе к вечеру надумал спалить накопившийся мусор. И рядом с ним всё это время пыхтел, усердствовал Данилка, которого отец привёз на майские праздники погостить. Отец, не заходя в дом, уехал по делам, а Данилка сразу бросился помогать деду, безо всякого пону-

кания, по своей доброй воле. «Правильно растёт малой, в нужную сторону», – думал дед, одобрительно поглядывая на внука.

Из избы тянуло чем-то аппетитным до обморока – бабка возилась с пирогами. От запаха печева у Данилки кружилась голова, и в животе разыгрался такой бурлѐж, что куры шарахались от него, а Тараска, рыжий кобель с квадратной мордой, то и дело забежал наперѐд и вопросительно заглядывал маленькому гостю в глаза. Несколько раз порывался Данилка отлучиться, поклянчить у бабки пирожка с пылу с жару, но стерпел, волю копил – сначала дело, а уж потом... Не удалось и самой бабке побаловать внука между делом, выбежала было с куском под передником да тут же спохватилась, метнулась назад, будто забыла чего – острый взгляд мужа аж от калитки достал.

Бабку Данилка любил больше, чем деда, но и больше не слушался. При ней он позволял себе и покапризничать, и полениться, и пошалить. Бабка не имела привычки бранить или отчитывать. Просто, когда Данилкины шалости переходили границы, она вдруг менялась в лице: смуглое от природы, оно у неё светлело и становилось скорбным и величавым, как у Богородицы. И шалость мгновенно покидала Данилку, он простирал к бабке руки, с разбегу утыкался в её передник и горько плакал. А бабка гладила его по горячему затылку и приговаривала с улыбкой: «Вну-учек, боле-езный мой!». С дедом такое не проходило. Он выговаривал жене: «Потакаешь сорванцу! Драть его надо, как сидорову козу, а она вылизывает!». Нет, деда он тоже любил, только немножко побаивался. И этот глупый ребячий страх невольно шѐл в минус любви.

К полудню сели обедать. И тут уж Данилка отпустил себя, дал волю аппетиту. Ел с такой прытью – за ушами трещало. Похлебал ухи, умял не один кусок пирога, сначала с рыбой, потом с капустой. Хватило места в животе и для пасхального кулича с мѐдом. И покрыл всё это парным молоком – бабка у соседки разжилась, та свою корову держала. А наевшись под завязку, никак не мог отдышаться. И заблестел, зарумянился, как масляный колобок, даже глаза покраснели.

– Вот мельница! Всё умолот! Да на тебя не напасѐшься, – брякнул дед.

– Сиди уж! – сердито махнула бабка.

– Ничего, с него не убудет! – ухмылялся дед. – Кто ест до отвала, тот и работает не помалу.

Потом вздремнули часок. И снова за работу. А к ночи, у костерка, и побалагурить можно.

Высоко в ночном небе, разрезая пространство гулом двигателей, светляком проплывал воздушный корабль. А совсем рядом гудящими наплывами стучали на стыках проходящие поезда, и звук передавался по земле явственным толчками, как при землетрясении, под Данилкой даже позванивало немного – он сидел на опрокинутом цинковом ведре, покрытом для тепла и мягкости шерстяной вязаной шалью. Сверху на него была наброшена дедова телогрейка, а снизу придавил ноги набегавшийся за день Тараска. Данилке было тепло и уютно в мире. Даже Большая Медведица во все глаза пялилась из своей тѐмной берлоги на белобрысую мальчишескую макушку – завидовала.

Дед восседал по другую сторону костра, на берѐзовой колоде для колки дров. Дул своёвольный майский ветерок, и временами Данилку овеивал махорочный дурман, от которого покалывало в горле и чесалось в носу – дед дымил сигаркой, свѐрнутой дудочкой из газеты, и говорил, говорил, обстоятельно расставляя слова, будто деревья рассаживал. Не в пример искрам, брызжущим из костра беспорядочным фейерверком, каждое дедово слово звучало по-своему вразумительно, всякому было своё место. Время от времени он теребил почернелой жердиной затухающие головешки и подбрасывал в жаровню кострища припасѐнные для розжига чурки, возрождал огонь. И огонь, вспыхнув с новой силой, благодарно

веселился в прищуренных дедовых глазах, укрытых под мохнатыми козырьками бровей, льнул к жилистым рукам, лизал красными всполохами скуластое лицо, пробегал озорными искрами по растопыренным усищам, всклокоченной бороде и вздыбленной шевелюре. И всё дедово обличье, грозное и, в то же время, проказливое, чудилось Данилке сказочным божеством, выскочившим на минутку из лесного царства, чтоб ухватить людского тепла. Данилка замирал от восторга и пронизывающей душу оторопи. Когда дед умолкал, он снова сыпал вопросами, и деду приходилось отвечать. Много в тот вечер Данилка услышал и про лес, и про войну, и про звёзды...

Бабка постлала внучку, как всегда, в задней комнатке, окном в сад, на большой железной кровати с круглыми блестящими набалдашниками на спинках. Пуховая перина обняла Данилку райским облаком. Чистая простыня, только что снятая бабкой с верёвки и чуть влажная от росы, пахла хвоей и дымом. От натопленной печи исходил томящий жар. Тело Данилки свербело от усталости, он долго не мог заснуть, всё ворочался с непривычки – поезда не давали, да ещё гремела кастрюлями бабка, да где-то поблизости щёлкал затвором дед, наверное, карабин чистил. Потом всё смолкло, и полоска под дверью погасла. Значит, улеглись. Голова у Данилки поплыла, глаза подёрнулись сладкой дремотой... И тут под окном забрежал Тараска, утробно, с подвыванием. Данилка слышал, как дед, чертыхнувшись, вышел наружу, цыкнул на кобеля. Зазвякала цепь, видно, привязал. Потом вернулся, пробасил что-то. Тяжко вздохнула бабка. Данилке было жарко, он откинул тяжёлое ватное одеяло и смотрел в окно на множество мерцающих точек в гигантском круговороте Вечности...

Загремел очередной товарняк, длиннющий, тяжёлый – грохотал долго, неустанно, и когда грохот, наконец, раскатился по лесам и затих, Данилка уже спал... Ему снилась рассказанная дедом война: фрицы из больших пушек, из гаубиц, палили по звёздам, и звёзды падали на землю алмазными россыпями и терялись в лесу, а партизаны разыскивали их; впереди бежал Тараска, вынюхивал и, когда находил в траве мерцающий алмаз, лаял призывно... Партизаны подбирали упавшие звёзды и бережно, как ордена, заворачивали в тряпочки и складывали в наплечные сумки, для сохранности, чтобы потом, когда наступит мир, водворить их на своё законное место...

2

Потом на Данилу нахлынули рассказы родителей о былом, предшествовавшем его появлению на свет. Про себя он эту пору находил тяжёлой, но ясной.

А нынче больше хитрецы и вероломства. Каждый норовит обскакать другого и не гнушается на этом пути ничем. Ничего нельзя сказать заранее, все прогнозы рушатся. Вообще жизнь, думал он, во многом походит на исправно работающую человеческую мясорубку, перемалывающую всех без разбору, и нужно изловчиться, чтобы не попасть в неё. Как человек совестливый, он в первую очередь корил за это себя, он полагал, что в его постыдном нынешнем положении есть и его вина, и потому искал, где он оступился, где чего-то недопонял, где чего-то сделал не так или чего-то не сделал. В то же время, как человек, исполняющий свой долг перед Родиной и людьми, воспитанный в иных условиях и не бегающий от труда, человек прямой и бескомпромиссный, он думал о расцветшем ныне пышном цветом мошенничестве, о людях лёгкой добычи, о быстрой смене внутреннего ориентира, о приспособленчестве, и в его тягостные размышления вплетались извечные национальные вопросы: «кто виноват?», «что делать?», «как мы дошли до жизни такой?» и прочая бесконечная канитель. Они напозлали неподъёмным комом, как быстро нарастает снег при лепке снежной бабы, и тут же превращались в одну большую проблему: как из всего этого

выбраться, не теряя человеческого достоинства, которого сегодня, при смене экономической, а за ней и нравственной парадигмы, при утрате прежних моральных устоев, при безоговорочной власти денег и «волчьего» закона, так лихо избегают? Эта проблема крепко сидела у него в голове и не находила более или менее удовлетворительного разрешения...

Послевоенные люди жили как-то иначе, при общей бедности не теряли бодрости духа, существовали, можно сказать, наперекор действительности, на голом энтузиазме. Часто помогали друг другу, поддерживали в трудную минуту словом и делом. Всюду нужны были рабочие руки, и они откликались на это. Работали дружно и весело. Мечтали, верили в светлое будущее, на новостройки отправлялись толпами и были внутренне молоды в любом возрасте. Нет, находились, конечно, и такие, которые жили за чужой счёт, не без этого, но их называли дармоедами, проходимцами, отщепенцами и не жаловали.

А всё начиналось, как обычно, с природного ресурса. Нашли хорошую глину для кирпичей и быстренько возвели неподалёку кирпичный завод; прогулявшийся по стране молох войны оставил после себя руины и пепелища, и надо было отстраиваться. При нём сварили рабочий посёлок и назвали его Глинянкой. Срубили для заводчан два десятка двухэтажных барачных бараков – их тогда строили как временки, между бараками вперемежку воткнули котельную с баней, медпункт, промпродмаг (или просто – сельмаг), отделение связи с одним телефоном, комендантскую контору и общий туалет, для посещения которого, в любое время года, нужно было сдавать норму ГТО, то есть, бежать стометровку через всю улицу. А воду качали из реки. Водокачка хлопала три часа утром и три вечером. В воскресенье вечером на час больше. Пока было не до удобств. Скучные прилавки сельмага после войны встречали с пониманием и дополняли магазинный продукт своими силами – на задах бараков самостоятельно возникли ухоженные грядки огородов, на которых предприимчивые хозяйки высаживали картошку, лук, сеяли морковь и всякую зелень. А когда молодые энтузиасты, приехавшие выручать страну, пережились и наплодили детей, то пришлось позаботиться сначала о детском саде, а потом и о школе.

Вслед за школой, в том же году, неожиданно отгрохали клуб с кинозалом, а главное, с деревянными колоннами на выступающем фасаде, оштукатуренными и выкрашенными под мрамор. Среди грубых, наспех сооружённых, барачных строений этот архитектурный парафраз античности смотрелся особо нелепо. В длинном, похожем на депо, кинозале вместо откидных кресел установили простецкие деревянные скамьи, которые после киносеанса общими усилиями с торопливым грохотом раздвигались, освобождая место для танцплощадки. Впереди, под небрежно натянутым из белого полотна экраном, соорудили скромное возвышение, так называемую, эстраду. А с боков повесили иконы советского образца – сусальные портреты вождей, окрылённо взиравших в одну сторону, и прилепили под ними их направляющие высказывания об искусстве, а слева установили высокую трибуну. Эстрада – на случай появления ростков местной художественной самодеятельности и возможных выступлений заезжих гастролёров. А трибуна – для всякого рода производственных и идеологических мероприятий. По красным датам с трибуны самозабвенно митинговало начальство. После чего распалённый лозунгами народ, подхватив изготовленные местными умельцами стяги, транспаранты и заимствованные у кинозала портреты вождей, стройными рядами бежал на воздух, чтобы там под трубные звуки духового оркестра, нанятого в районе у похоронного бюро и состоявшего из пяти-шести престарелых музыкантов дореволюционной закваски, пройти демонстрацией по единственной улице от клуба до туалета и обратно, выкрикивая «Даёшь кирпич!», «Партии слава!» и активно потребляя продукты выездного буфета.

Снаружи перед клубом врыли столб и на его верхотуре водрузили колокол громкоговорителя, который вещал, не умолкая, с шести утра до двенадцати ночи и цепко держал жителей посёлка в курсе последних известий и поддерживал энтузиазм бодрящими маршами,

а заодно напивал тонкое душевное вещество песенной патетикой неизбежного коммунизма, превратившейся через десятки лет в неотвязную ностальгическую паутину. И не было места в посёлке, где можно было бы укрыться от его непрестанного звучания – звук отключили только к концу пятидесятых. Кроме того оно породило поколение глухих ко всему остальному. Но и тогда, подспудно, под непробиваемым слоем идеологической брони, тлея в людских сердцах тоска по чему-то невысказанному. По праздникам, в дополнение к содрогавшемуся в маршеобразных конвульсиях клубному громкоговорителю или, точнее, вразрез ему, на окраине посёлка настойчиво заявляла о себе чья-то шипящая патефонная пластинка. Из распахнутого барачного окна плыла и расплзалась по вечерним водам Струи томительным туманцем кубинская песня в исполнении широко известной и любимой всеми певицы: «О, голубка моя, как тебя я люблю-уу...».

Тогда же из Города прислали и клубного работника, проворовавшегося начальника крупнооптовой базы, уже немолодого полуеврея-полутатарина, загадочную личность с крадущейся походкой в стоптанных хромовых сапогах и грушевидным животом, подхваченным бандажом офицерского ремня. В сочетании с длинной бородой, растущей змеистыми космами – смелого по тем временам атрибута – его внешность «косила» под военизированного библейского патриарха, нанявшегося вызволить народ из пучины невежества. Звали его Аркадий Михайлович Зиганшин. Новообращённый работник культуры ещё на зоне, отбывая за свои «художества» положенный срок, раскопал в себе необоримую тягу к чему-то невообразимо прекрасному, может быть, задавленному в дореволюционном детстве, и, освободившись, решил наверстать упущенное. Никто не возражал. С лёгкой руки вождя мирового пролетариата считалось, что нет ничего более принадлежащего народу, чем культура и искусство. В культуру отправляли, как в исправительное заведение – поживиться-то нечем, ибо в культуру всегда вкладывали по остаточному принципу. Вдобавок к своему занимательному прошлому этот работник был ещё и настолько безграмотен, что был убеждён, будто *стерилизация* имя супруги древнеримского императора, писал «икзикуцея» и «антилигенцея», а в рукописной афишке, зазывавшей на демонстрацию привезённой им из Города очередной кинокопии, однажды кисточкой вывел: «Граф Монте-300»! Но вполне вероятно, придурился, разыгрывал сироту казанскую, убивая тем самым сразу трёх зайцев: потешал народ, сам над ним потешался и столбил себе непорицаемое происхождение. Какой-то Фома неверующий пустил слух, будто Зиганшин – натуральное «поповское отродье». Однако жители Глинянки встретили эту желчную новость снисходительно. Несмотря на все свои вольные и невольные прегрешения, Зиганшин был в посёлке на положении священной коровы. Его возвращения из Города ждали с изнуряющим нетерпением – жаждали зрелищ, которые в первые послевоенные годы порой подменяли и хлеб. Аркадий Михайлович знал толк в психологии трудящегося и щедро потчевал поселковую публику весьма популярными в те времена «трофейными» киноприключениями вроде «Тарзана» и музыкальными киношоу типа «Девушки моей мечты» с любимицей Гитлера, весьма техничной и несколько плотноватой, Мариной Рокк. Много позже в посёлке учредили отдельную должность кинемеханика, а Зиганшин поднялся по служебной лестнице до завклуба. И всё же он продолжал ездить в Город за фильмами. Его вкусу доверяли. Да и длительное знакомство с работниками кинопроката сыграло свою роль. Данилка застал Зиганшина уже в сильно пожилом возрасте. Но поселковая пацанва, к которой из детской солидарности невольно присоединялся и Данилка, почему-то не переносила его и всячески пакостила: подворовывала у него мелкие вещицы, высмеивала его походку, дразнила «собачьим пастухом». Зиганшин только ухмылялся в бороду – сам в детстве пошаливал. Он был, в общем-то, человеком покладистым, с каждым жителем посёлка, не взирая на возраст, при встрече непременно раскланивался, слегка приподымая измятую до потери формы линялую фетровую шляпу, а у клуба организовал кормушку для бродячих собак, которых вскоре собралась целая стая. Дожил Зиганшин

до весьма преклонного возраста и умер, как говорится, не отходя от кассы, на стуле у входа, во время киносеанса. Скопил инфаркт.

Пока возводился завод, от станции Залесье, принадлежавшей общесоюзной железнодорожной магистрали, к Глинянке отводили боковую тупиковую ветку. Прокладывали её в срочном порядке, с различного рода допусками. И потому, благодаря то ли плохо забитым в шпалы костылям, то ли негодности самих шпал, то ли неустоявшейся насыпи, то ли вредительской деятельности скрытых «предателей и шпионов», то ли ещё по какой причине, рельсы постоянно расходились, и дорога вновь и вновь требовала ремонта. Бывало, пригородный поезд сворачивал на ветку и тут же сходил с рельсов, и, ехавшие в нём на танцы в клуб с колоннами, кавалеры из заречных деревень возвращались домой не солоно хлебавши. Озорной народ даже сочинил по этому поводу нескромные частушки:

*Пели девки у колонн,
ночку прохлаждались,
женихов забрать в полон
песнями пытались.
Пареньки из дальних мест
с ними не возжаются —
ноги, мол, у тех невест
сами разъезжаются!*

По железной дороге до Города было около полста километров. С помощью боковой ветки она связывала производственный двор кирпичного завода с городской базой, находящейся на самой окраине Города и перенесённой уже в наше время за пределы окружной автомагистрали. Товарняк из шести открытых платформ с кирпичами, и запряжённый поначалу в старенький паровоз-кукушку, курсировал по заданному маршруту два раза в месяц. А пассажирский поезд (позже — электричка) ходил от Глинянки два раза в сутки и, если не случилось ничего экстраординарного, через час с копейками доставлял вас на один из северных вокзалов Города. Однако, если вы надумали совершить поездку в Город на рейсовом автобусе, то путь сразу удваивался. А всё дело в том, что посёлок находился в своеобразных географических клещах. С одной стороны от него катила свои воды река Струя, а с другой в неё впадала река поменьше, с названием сродни женскому имени — Тоня. Они бежали на юг под углом друг к другу, и в месте слияния образовывали природную ловушку, в которой, как в мешке, на самом его дне, и лежал посёлок Глинянка. Одно время обсуждался проект автодорожного моста через Тоню, рядом с существующим железнодорожным, но после того, как провели боковую ветку, о нём тут же забыли. И чтобы добраться до границ цивилизации помимо железной дороги, нужно было пройти через лес, потом свернуть на бетонку, сесть на автобус, преодолеть мост, перекинутый через Струю выше по течению, и через пять километров с гаком уже выехать на междугородную автодорогу.

...И всё-таки жизнь посёлка наперекор личным интересам его жителей была сфокусирована на производстве кирпича. А его бытовая, почти походная, неустроенность быстро стала привычной и ни у кого не вызывала раздражения. Поселковое начальство больше нянчилось с кирпичами, чем с людьми. Так было проще и так было принято. Да и кто из начальствующих персон когда-нибудь всерьёз думал о свободной и достойной жизни простых граждан, потом своим и кровью своею кующих величие государства?.. На переднем плане маячила государственная польза, в данном случае — кирпич. А тот, кто делал его, априори должен был идейно воодушевиться этой пользой и о собственном благополучии думать в последнюю очередь или не думать совсем. И многие, в самом деле, по заведён-

ной со времён гражданской войны привычке к самоограничению и самоотречению воодушевлялись только кирпичом, думали о кирпиче, спорили о кирпиче, шутили про кирпич, единственную улицу в посёлке называли Краснокирпичной (даже цвет лица у всех был кирпичным! по иронии судьбы, и фамилия первого директора завода была соответствующая: Кирпичников!), а о своём благе забывали или простодушно воображали его волшебной пространственно-временной субстанцией и мечтали о нём, как о прекрасном, но далёком будущем, которое нагрянет вдруг, само собой, и в котором будут счастливо жить их внуки и правнуки. И пребывали в этом блаженном заблуждении вплоть до новых шоковых перемен, когда на смену диктатуре пролетариата на авансцену снова вылез его величество Капитал и его страдающая недержанием шутиха – Рекламная пауза.

Ещё родители рассказывали Данилке про деда, про его злую военную судьбину. Витька не хотел слушать, всё порывался играть, а Данилка внимал с каким-то особенным трепетом. Может потому, что часто бывал у деда с бабкой и относился к ним как-то по-особенному. А послушать было что.

На четвёртом году самой смертоносной войны двадцатого века белорусский партизан Данила Трофимович Гончаров, участвуя в операции по освобождению родного городка силами сводного отряда танковой дивизии и народных мстителей, получил контузию и множественные осколочные ранения. За проявленную храбрость был награждён орденом и отправлен на излечение в тыловой госпиталь, в предместье Города. Операции по извлечению осколков из могучего тела Гончарова задержали его на больничной койке более двух месяцев. А когда дело пошло на поправку, он запросился на фронт, в чём ему уважительно, но твёрдо, было отказано. С выздоравливающими бойцами беседовал бывший танкист, полковник по фамилии Страхов, приземистый, с обожжённым лицом, с круглыми немигающими, как у стервятника, глазами, вправленными в болезненно стянутую кожу. Он сидел за широким дубовым столом подчёркнуто прямой, положив перед собой руки «бутербродом» от локтя до локтя, как учили сидеть советских школьников. Разговаривал коротко, отрывисто, подкрепляя слова скупыми отработанными жестами. Переплавленный в горниле войны и упакованный в чистый торжественный китель с белоснежной каймой подворотничка у изрытой рубцами шее, подобно меловой линии на неровностях выветренной известковой породы, он казался Гончарову сфинксом, олицетворяющим неумолимую государственную машину. И потому он, Данила Трофимович Гончаров, бесстрашный солдат Великой Отечественной, в присутствии полковника невольно робел и был готов подчиниться любому его указанию.

Полковник поблагодарил Гончарова за службу и поинтересовался, чем тот занимался до войны.

– По лесной части я, обходчиком, товарищ полковник. Лесничим, значит. Да разве теперь до этого.

– А вот это неправильно, товарищ боец! Потому – недальновидно, – рука сфинкса приподнялась, в такт словам постучав по столу указательным пальцем, и снова уложилась на место. – Нам теперь до всего есть дело. Не за горами Победа. На фронте теперь и без тебя обойдутся. Ты своё отвоевал. А страну пора обустраивать, переводить на мирные рельсы. Жена, дети имеются?

– В эвакуации жена, под Саратовом, у родичей. И сынок с ней, Васятка. Десятый годок пошёл. Пишут, скучают.

– Везучий ты мужик, Данила Гончаров, – на лице сфинкса обозначилась мучительная гримаса, полковник резко отвернулся к окну и, помолчав немного, вновь вернул себя в исходное положение.

И тут Данила Трофимович заметил значительную перемену в собеседнике. Глаза полковника погасли, плечи опустились – сфинкс исчез, и вместо него на Гончарова смотрело изувеченное лицо смертельно уставшего человека.

– Так что, выписывай жену с ребёнком и отправляйся в местное лесничество, – сказал полковник просто. – Они тебя ждут. Вчера ихний начальник наведывался. Нужны, говорит, надёжные люди. И хорошо бы, специалисты. В лесу пора наводить порядок. Как раз по твоей части. Лес, брат, лес – наше богатство! Лес – это лёгкие страны! – пафосно вывел полковник, особо упирая на последнюю фразу, видимо, вычитанную им недавно из «Правды», и стянутая кожа на его лице страшно побагровела.

Данила Трофимович не знал как быть.

– А я... домой хотел, в Белоруссию...

– А дом-то твой цел, боец?

– Сгорел дом.

– Так об чём разговор!

– Так ведь отстроюсь! Я там родился, товарищ полковник. Там моя родина.

При слове «родина» лицо полковника стало землисто-серым, а торс вновь обрел монументальность сфинкса.

– Родина у нас одна – Союз нерушимый республик свободных! Я вот родился в Крыму. Что ж мне теперь всю жизнь курортничать?! А меня сюда определили. И правильно! Кто страну возрождать станет? И потом, у тебя фамилия какая, боец? Гончаревич или Гончарович?

– Гончаров, товарищ полковник.

– Ну вот, фамилия у тебя русская! И жить ты должен в России-матушке! И разводить тары-бары здесь ни к чему. Решено. Не задерживаю. Следующий!

Так Данила Трофимович Гончаров, будучи ещё молодым и полным сил, как вызревшее деревце, был пересажен на другую почву, перебрался в центральные лесные угодья, в самое сердце необъятной страны. Первое время, конечно, тосковал, «болел» – приживался, а потом, за работой, свыкся. Леса излечили. Через месяц перевёз жену Глашу и малолетнего сына поближе к месту своей новой работы, к северу-западу от Города, в пристанционную деревеньку Залесье, неподалёку от которой двумя годами позже начнётся строительство кирпичного завода и рабочего посёлка при нём. А ещё через шесть лет его пятнадцатилетний сын, Василий Данилович, парнишка упорный и самостоятельный, напросится в подручные к мастеру по формовке кирпича, прикипит к своему занятию, к людям молодым, энергичным, приехавшим сюда отовсюду и в поисках заработка, и по путёвке комсомола, и из соображений патриотизма, и честно отработает на заводе в разных цехах вплоть до начала известной перестройки, то есть, до конца своей недлинной жизни. Здесь же обзаведётся семьёй, в жёны возьмёт Наталку-Полтавку, весёлую голубоглазую хохлушку из планового отдела.

И в один прекрасный день, к концу пятидесятых, у них появится Данилка светлорослый и вдумчивый, как отец. Ещё через год родится Витька, подвижный и чернявый, как цыганёнок, в мать.

Родились они в самый разгар оттепели, после разоблачения культа личности грозного и непредсказуемого тирана, когда страной управлял его разоблачитель (в прошлом соратник), «курский соловей», простоватый и недальновидный, певший о скором коммунизме и суливший море кукурузы, если все будут хорошо себя вести, а он – как душа прикажет. Однако его вскоре сместили, коммунизм остался на плакатах да на языке, и кукурузный пыл сошёл на нет.

Новый властитель ничего конкретного не обещал. Он просто публично раздавал поцелуи направо-налево и прилежно охранял то, что было до него. Но от поцелуев, как гово-

рится, дети не родятся. Требуется пахать глубже. А застоявшаяся экономика, принуждавшая к экономии («экономика должна быть экономной»), и её сконцентрированная на чём-то своём родная сестра, политика, для простых людей – дело тёмное. И народу элементарно постоянно чего-то не хватало. Приходилось, как всегда, проявлять смекалку и таким образом выживать.

3

Данила хорошо помнил, что, несмотря на незначительную разницу в возрасте, братья не ладили ещё с детства. Помнил, что Витька его чем-то злил, и они часто ссорились и били друг друга. Может быть, оттого, что по-разному были устроены, настолько по-разному, что, казалось, представляли собой параллельные миры. Данила являлся стопроцентным интровертом. Поглощённый собственными ощущениями, он жил в воображаемом мире и потому его отличала крайняя ранимость. И вместе с тем он был открыт, доверчив, откровенен, предельно честен во всём и никогда всему хорошему в себе старался не изменять. Этим, видимо, и объяснялись его медлительность и трудность в сношениях с внешним миром. В детстве он был не в меру стеснителен, некоммуникабелен (любимое словечко шестидесятников!) и долго не мог избавиться от парализующего сознания страха при необходимости общаться со взрослыми, которые ему, опутанному по малолетству мелкими недостатками, свойственными каждому развивающемуся ребёнку, уже только в силу своего возраста, казались тогда воплощёнными добродетелями. Виктор, наоборот, был чистокровным экстравертом и отличался чрезмерной общительностью. Он не огораживал свою «территорию» пограничными столбами различия, более того, сам легко и активно внедрялся в соседние «огороды». Всё чужое схватывал на лету, моментально впитывал и превращал в своё. Взрослых видел насквозь и не заблуждался на их счёт. И это формировало его сознание совершенно в ином русле. Обладая от природы изрядной долей хитрости, он быстро освоил науку лгать, приобщился гибкости суждений и с лёгкостью мог выстроить выгодные для себя отношения хоть с чёртом, хоть с дьяволом. Его совесть дремала, когда он решался на поступки, совершить которые Даниле бы и в голову не пришло. Данила обо всём много думал. Виктор всё быстро устраивал. Данила искал с другими глубинных контактов и на всё смотрел сквозь призму этики. Виктор хватался за любые поверхностные зацепки и всюду извлекал практическую выгоду. Данила познавал и создавал. Виктор удачно всем этим пользовался. Даниле был важен процесс. Виктору – результат. Данила был озабочен благополучием земляков. Виктор стремился к личному успеху.

Их первая крупная размолвка произошла, когда Даниле было одиннадцать лет, а Виктору, соответственно, десять. К концу шестидесятых детей в этом благоприятном возрасте, когда они уже не требуют ежечасной опеки родителей, но ещё не вышли из-под их контроля, в посёлке было мало, человек десять, и среди них только две девчонки: симпатичная и сообразительная пацанка Марийка и глуповатая, но компанейская, толстушка Зойка. Все они дружили между собой и составляли единую поселковую команду. Их излюбленной забавой была игра в партизаны. В командиры партизанского отряда сам себя назначил Виктор Гончаров, Витёк. И хотя в отряде имелись пацаны старше его на год или на два, за Витьку проголосовали единогласно – ведь это была его затея, он инициатор, ему, как говорится, и руки в руки.

Они «подрывали» вражеские поезда и боевые укрепления «противника», заманивали «врага» в непроходимую чащу и «расстреливали» на месте, но больше всего любили взрывать. Поначалу взрывчаткой служил дымный охотничий порох, похожий на истолчённый уголь, который с риском быть выпоротыми доставали дети заядлых охотников. Таких немало

было в Глинянке. Порох насыпали в пустой спичечный коробок, а коробок подкладывали на месте намеченного взрыва – обычно это происходило на рельсах – к коробку тянули, как и полагается, бикфордов шнур в виде тонкой, вымоченной в керосине, верёвочки. Когда приближался поезд, шнур поджигали, и пока пламя добиралось до коробочки, «партизаны» успевали залечь за ближайшим деревом.

Но вскоре охотники раскусили, отчего тают их пороховые запасы, и провинившиеся «партизаны» оказались под домашним арестом. Пришлось перекинуться на более безопасные и более доступные материалы: фото- или киноплёнку, смотанную в рулончик и обёрнутую газетой. Этот свёрток также поджигали и, когда газета прогорала, пламя немедленно гасили. От тлеющего рулончика начинал валить белёсый, едкий, безумно вонючий дым. Дымящуюся плёнку тут же кидали, как гранату, в намеченный объект, лучше всего в какое-нибудь замкнутое пространство, для пущего эффекта. Звука не было, зато дым был такой обильный, что в пору пожарных вызывать.

На этот раз партизаны решили взорвать офицерский штаб «фрицев» и объектом для этого избрали баню. Девчонки не участвовали, словно предчувствовали, чем это кончится.

Операцию назначили на девять часов вечера. Дело было зимой. Уже стемнело, но яркий лунный свет преображал пейзаж в духе ночных полотен Куинджи. Контрастные тени сосен делали сугробы полосатыми, а маленькие банные окошки горели таинственными красноватыми огоньками. «Партизаны» залегли в сугробе с тыла бани и ждали, когда хотя бы одно из них откроется. Баня была хорошая, горячая, и потому в разгар мытья в женском отделении форточки парилки обычно открывали, воздуху не хватало.

На боевую операцию явились только четверо: Пашка Сердюков, Сенька Тумарин и братья Гончаровы. Пашка хоть и был на полтора года старше командира, рост имел маленький, руки, ноги и шею тонкие, а голову большую, увесистую. Когда он бежал, его голова, вследствие своей несоразмерности по отношению ко всему остальному, по инерции заваливалась на разные стороны, не успевала за движением Пашкиного тела. Девятилетний Сенька Тумарин, прозванный Будильником, наоборот, голову имел маленькую, а всё остальное большое, грузное, что, впрочем, не мешало ему быть чрезвычайно подвижным. Пашка разговаривал медленно, обстоятельно, мальчишеским басом, порой не сразу выговаривая трудные слова, а Сенька тараторил, как девчонка, звонко, с повизгиванием.

По выходным Сенька вставал раньше всех, а так как сидеть дома ему было не вмоготу, он выскакивал из подъезда своего барака с куском чёрного хлеба в зубах, на ходу заправляя рубашку в широкие штаны, и бежал по улице, тряся соплями и скликая своих «братьев-партизан» на прогулку.

Однажды Пашкина бабушка не выдержала и громогласно рассердилась на Сеньку: «Вот ведь будильник какой выискался! Нынче выходной, а он, супостат, трезвонит как оглашенный! С ранья-то весь посёлок на ноги поднял!» Пацаны подхватили это прозвище, и с тех пор Сенька стал Будильником.

Пацаны залегли в сугробе, словно раскиданные в беспорядке поленья, и не сводили глаз с банных окошек.

– Ну, чего они там! Заснули, что ль? – нетерпеливо высказался Сенька, перебирая ногами по снегу.

– Засохни, Будильник! – оборвал Витёк.

– А если фортку не откроют, что будем делать? – напирал Сенька. – Плохо, если не откроют.

– Почему – плохо? – встрял Пашка, он заметно нервничал. – Ничего не плохо...

– Ты чо, дурак, не понимаешь? – зачастил Сенька, утирая варежкой набегающие сопли. – Там сейчас эти... бабы-фрицы... го-олые! А мы им в окошко дымовушку подкинем. Подождём и подкинем. Во шороху будет!

– Не-е! – засомневался Пашка. – Не будет.
– А могут и задохнуться, – предположил Витёк.
– Могут, – заржал жеребёнком Сенька. – Не побегут же голыми на снег!
– Не-е! – снова протянул Пашка. – Не могут. У них там про... противогазы.
– Откуда в бане противогазы? – удивился Витёк.
– Марь Иванна с собой притащила, – ответил Пашка. – Я сам видел. У них до того учения были. По гра... гражданской обороне.
– Эх, нам бы сейчас гранатку! Настоящую! Какую-нибудь ржавую лимонку... Такую, как в прошлом году в карьере откопали... – размечтался Сенька.
– Лимонку! Опупел?! – Витёк искоса взглянул на Сеньку и покрутил пальцем у виска.
– Сам ты опупел, – огрызнулся Сенька.
– Чувак, гранатой баню разнесёт, – разъяснил Витёк. – Где мыться будешь?
– Дома. В корыте, – сразу нашёлся Сенька.
– Сказал, в корыте! Ты когда последний раз в корыте мылся? Когда сиську сосал?
– Сам ты сосал.
– Да ты в него теперь и не влезешь. Вон какие голяшки отъел, – заключил Пашка.
– Спорим, влезу! А за голяшки по кумполу схлопочешь! – насел Сенька на Пашку и тут же прибавил с садистским наслаждением: – Ещё бы и фортку потом задраить!
Пашка запротестовал.
– Не-е, робя, фортку нельзя...
– Почему это?
– Высоко. Не достать.
– Тогда четыре пульнём, две мало. Фрицы здоровые. С двух не задохнутся, даже не закашляются. Да ещё у них противогазы! Воща!
– Засохни, Будильник. Значит, так... Я с Данилкой – по одной. И ты, Сенька, с Пашкой по одной. Бросаем по очереди. Сначала я, потом Данилка.
– А мы? – в один голос спросили Пашка и Сенька.
– А вы пока подпаливаете. Дошло, чуваки?
– Дошло.
– А зачем это... чтоб задохлись? – подал голос Данилка.
– Как зачем! Во даёт! – вскричал Сенька. – Смехотааа! Они голову мылят, а мы им тут – накося! – подарочек с дымовушкой! Воща! Вон Пашка этой плёнки метра три у кинщика стырил!
– У Аркадия Михалыча? – спросил Данилка.
– У собачьего пастуха, – отозвался Пашка. – А чего, у него в будке целых пять кругляшей этой плёнки!
– Так на плёнке кино!
– Ну и чихать! Мы ж не всю, а кусок. Он и не заметит.
Пацаны рассмеялись.
– Засохли, пацаны! – прикрикнул Витёк командирским голосом. – Пашка, боеприпасы при тебе?
– Ага, – кивнул Пашка.
– Сколько?
– Десять штук накрутил.
– Молоток! Доставай, не жидись. Раздай по одной. Спички у всех при себе?
Пацаны молча кивнули. Пашка вытащил из-за пазухи белый полотняный мешочек из-под крупы, отсчитал четыре штуки. Остальное аккуратно засунул обратно. Подумав, снова достал мешочек, кинул в него свой боеприпас и вдруг заявил:

– Не-е, я не буду кидать. Там сеструха моя. А она с детства плохо дышит. У неё даже подозревали этот... бе... беркулёз.

– Сам говорил – у них противогазы! – зашипел Сенька.

– Да-а, а вдруг она не успеет.

– Успеет, – заверил Витёк. – Жить захочет, успеет.

– Не-е, я не буду.

– Ну и фиг с тобой! – отрезал Витёк. – Без тебя управимся. А ты, Сенька?

Сенька задумался, громко шмыгнул носом. Всё-таки они с Пашкой дружили. И ему теперь не очень-то хотелось подводить друга.

– Не бзди, Будильник, наши в городе! Или может, ты не наш?

– Наш, – недовольно буркнул Сенька.

В это время в бане со стеклянным стуком откинулась форточка, и из туманно светящегося окошка повалил пар. Витёк вскочил, крикнул «За мной!» и побежал к бане. За ним поднялись Сенька и Данилка, а Пашка остался лежать в снегу. Подскочив к бане, партизаны затаились под форточкой. Из парилки нёсся оживлённый женский разговор и смех.

– Жги! – тихо скомандовал Витёк и стал поджигать свой боеприпас.

Данилка и Сенька тоже достали спички. От Витькиного свёртка уже повалил дым, а Данилка никак не мог высечь пламя. Витёк уже забросил свою гранату в форточку, а у Данилки всё не получалось. Сенька тоже поджёг плёнку и уже хотел забросить её, как вдруг из форточки вылетел и повис в морозном воздухе пронзительный визг. Витёк, озираясь на Данилку, стал перебежками отходить на исходный рубеж. Сенька сдрейфил, бросил на снег задымивший свёрток и тюленем запрыгал по сугробам. А у Данилки всё не загорались спички. Через минуту из-за угла бани выскочила распаренная Марья Ивановна, заводская бухгалтерша, в валенках, с большой, накинута на голое грузное тело, шалью. Одной рукой она придерживая шаль у горла, другой, выбросив на снег затоптанную, но всё ещё дымящуюся, плёнку, грозила убегающим пацанам: «Ах вы, ироды! Нашли забаву! Вот я вас!», а когда увидела Данилку со спичками в руках, обалдело взиравшего на неё, завопила: «Данилка, и ты туда же?! Ах ты, срамник! Я вот пожалюсь батьке! Бессовестный!» Опомнившись, Данилка зайцем сиганул в лес.

А ближе к ночи партизан повели на допрос. Отец призвал сыновей в большую комнату и стал выяснять, что они делали у бани. Не дождавшись ответа, он достал из кармана полусгоревшую, побывавшую в парилке, плёнку и спросил: «Чья работа? Витька, твоя?» Витька, безумно боявшийся порки, сошёл с лица и отрицательно мотнул головой. Тогда отец обратился к старшему сыну: «Твоя?» Как настоящий партизан, Данилка проглотил язык и безмолвствовал, глядя себе под ноги. Отец опять повернулся к младшему: «Его?» От страха Витёк потерял свою партизанскую доблесть и согласно кивнул.

После этого Данилка на глазах у брата был выпорот отцовским ремнём, препровождён в общий коридор барака и поставлен на два часа в угол. Данилке было не так больно, сколько стыдно и противно. И он решил уйти из партизанского отряда навсегда, а на Витьку смертельно обиделся и не разговаривал с ним до тех пор, пока эпизод с баней окончательно не выветрился из его головы...

4

Теперь Данилка гулял один. За это время в нём произошла важная перемена. Как-то в начале лета, бродя по лесу, вдали от посёлка, он набрёл на старый песчаный карьер, на дне которого посверкивало чистое озерцо, а по его берегам уходили ввысь песчано-глинистые обрывы с нависающими по гребню гигантскими, как шапка спутанных волос, корнями.

Данилка полюбил это тихое местечко и проводил здесь всё своё свободное время. Здесь была его тайная территория, здесь он в полной мере наслаждался своим одиночеством. Правда, часто между выступающими над обрывом корнями пряталось одно невидимое им существо, которое везде следовало за ним тенью и однажды чуть не выдало себя неосторожным движением.

Данилка нырял, рассматривал на дне окаменевшие отпечатки трилобитов – мелких рачков времён палеозоя, пытаясь представить себе, как выглядел карьер, будучи дном мирового океана. Удил мелкую рыбёшку, просто валялся на берегу, жарясь на солнышке, или погребал своё тело под горячими россыпями кварца.

И вот однажды, загребая ладонями очередную порцию песка, Данилка нащупал прохладный влажный, немного липкий, комок. Серовато-белёсая масса была похожа на глину, но цвет (!) Он вскочил, схватил комок и стал сосредоточенно мять. Масса была тяжёлая, тягучая, как пластилин, и легко поддавалась лепке. Потом отыскал другой комок, третий, и вскоре перед Данилкой выстроилась целая шеренга рыбок, ежей, черепах... Он смотрел на их подсыхающие бока, и в его душе распускался аленький цветок невиданного наслаждения – он сам сотворил их сейчас! Своими руками! Масса оказалась не только белой, но и в меру жирной – после полного высыхания на фигурках не появилось ни единой трещинки. Позже отец просветил Данилку – эта глина из породы каолинов. В Китае издавна используют её для производства фарфоровой посуды. Но у нас она встречается редко, в виде небольших вкраплений в песчаном массиве. Новое занятие настолько заразило Данилку, что теперь он отдавался только ему, с трудом отрывая себя для исполнения других необходимых обязанностей вроде учёбы и помощи по дому. А с годами оно не только окрепло, но и выработало в нём профессиональную хватку и художественный вкус. И так незаметно закончилось детство.

В двадцать лет он уже стал самым настоящим профессионалом в лепке, слепил фантастическую голову змея Горыныча с курительной трубкой в зубах. Она страшно напоминала голову последнего генералиссимуса, причём, при взгляде на неё с разных сторон, непостижимым образом меняла выражение: то хмурилась, то загадочно улыбалась.

Вместе с братьями выросли и их детские разногласия. И в особых случаях они делались глубоко непримиримыми. Повод для второй крупной ссоры возник в те времена, когда братья женихались.

В конце семидесятых в посёлок на освободившееся место продавца приехала из Иваново эффектная молодая женщина, Эмма Распадова, красивая, соблазнительная. Её появление было сродни неожиданно расцветшему среди лопухов экзотическому растению. Всё мужское население посёлка с вечера того же дня срочно окультурилось: стало опрятней, улыбчивей, забыло на время про хмельное, повадилось ходить в магазин за покупками (несмотря на то, что в разгар застоя на магазинных прилавках было шаром покати) и пристрастилось к танцам. А женским овладел ревнивый психоз: оно бросилось повсюду следить за своими мужьями, и в результате в этот год в бараках скопилось мусора больше, чем когда-либо, а на огородах случился повальный неурожай. Новая продавщица одевалась ярко, модно, носила свободную причёску, источала аромат дорогих духов, и вообще была непривычно раскована и сексапильна, словно дива, сошедшая с зарубежного экрана. «Сексбомба»! – шептались подростки по углам. Она умела себя подать и делала это открыто, с удовольствием. Кроме того, от неё всегда исходило чудное запретно-заграничное благоухание дорогих духов. И потому даже во время киносеанса в клубе она занимала центральное место, где бы ни сидела, и была подобна роскошному цветку, высаженному заботливым садовником в центре клумбы – все взгляды и все носы были устремлены не на экран, а на неё.

И Данила потерял голову. В ней он впервые увидел женщину, как самку. Он следил за ней, как хищник следит за добычей. Его глаза не видели ничего, кроме движения её тела, его уши не слышали ничего кроме звучания её голоса. Его несло в потоке желания, как щепку. Но природная застенчивость и воспитание заставляли соблюдать дистанцию приличия. И, наконец, как-то на танцах в клубе с колоннами, с невероятным усилием поборов свою застенчивость, он познакомился с ней поближе. И ещё ближе друг к другу они оказались, когда Данила провожал её домой нарочито длинным путём. И через несколько дней, во время катания на лодке по тихим водам Струи, сделал ей предложение. Эмма кокетливо рассмеялась и обещала подумать. А на следующий день Данила увидел её рядом с Виктором. Они шли по улице в обнимку. Виктор держал её за талию и что-то шептал на ухо. И всё это происходило среди бела дня, на виду у жителей посёлка. «Неслыханная распушенность!» – возмущалась женская половина посёлка. «А Виктор-то наш ловок!» – завистливо ухмылялась мужская половина.

В тот же день Данила решил объясниться с братом. Но Виктор рассмеялся брату в лицо и дал понять, что тот слишком много о себе воображает и что он не позволит умыкнуть свою невесту. Да, да, Эмма – его, Виктора, невеста, она стала ею месяц назад, когда он мотался в командировку в Иваново, и он рад будет видеть брата на своей свадьбе, которая состоится скоро в клубе с колоннами...

Это известие буквально разворотило Данилу. Целый день он бегал по лесу, словно загнанный олень, не в состоянии остановиться, мышцы самопроизвольно сокращались и гнали его в неведомую сторону, сердце колотилось у самого горла, в голове и в груди полыхал пожар. И только к вечеру, обессилев окончательно, измотанный, измученный, он выскочил на высокий берег Струи и, скатившись по песчаному откосу, безвольно распластался у самой воды. Вокруг деловито сновали трясогузки, гортанно покрикивали чайки, равнодушно плескалась и хлюпала у самого уха речная вода. А в нём, вместе с уходящей усталостью, тяжёлой волной поднималось неодолимое, несовместимое с жизнью, отвращение к себе. Всю ночь он провёл на берегу реки, бесцельно слоняясь по мокрому песку, а утром раздобыл крепкую верёвку и убежал на песчаный карьер.

И смешаться бы ему во цвете лет с прахом земным, если бы его тогда не окликнул женский голос. На краю карьера, как спасительное видение, стояла девушка в белом. На фоне тёмного неба она смотрелась расплывчатым ангельским пятном. Он сначала не узнал её. А потом, взглядевшись, пришёл в замешательство.

– Марийка?! Ты зачем здесь?

– Я видела, как ты побежал в лес, – ответила она, стараясь держаться спокойно. – Я всё знаю...

Данила прошептал с яростью:

– Я убью его!

– За что? Он тоже влюбился. Это его право.

– Тогда – её!

– И она ни в чём не виновата. Она выбрала его. Это её право.

– А где моё право? Ты не знаешь... Я сделал ей предложение, а она... она посмеялась надо мной! Она обманула меня.

– Она не обманывала. Она сама не знает, что ей нужно. Просто в ней нет любви к тебе. В ней вообще пока нет любви ни к кому. Виктор любит её, и она когда-нибудь полюбит его... Так бывает... А я люблю тебя, – сказала Мария тихо и просто, глядя Даниле прямо в глаза. Слова давались ей с трудом, но она говорила и говорила, боясь остановиться, пока злополучная верёвка не выскользнула из Данилиных рук. – Давно люблю, с детства, когда мы ещё в партизаны играли. Помнишь, я тебе рану однажды перевязывала?.. И ведь рана-то была настоящая, ты об сук ободрался! – Мария подошла к Даниле и провела по светлой линии

старого шрама на руке чуть ниже локтя. – И кровь шла. Я перевязывала, а ты брыкался, говорил, и так заживёт, нечего бинты переводить! Мы ещё тогда лбами стукнулись. У меня даже шишка вскочила, – Мария улыбалась, а на её висках гуляли нервные разводы. – Помнишь?

– Конечно, помню, – ответил Данила, уже отвлечённый от страшной цели.

– Обними меня, – сказала неожиданно Мария.

Данила положил свои большие руки Марии на плечи, осторожно прижал девушку к себе.

– Спасибо.

– За что?

– Я так давно ждала этого. Я ходила за тобой повсюду... Была и здесь, на песчаном карьере... Видела, как ты вылепил свою первую фигурку...

Данила отстранил от себя Марию и вдруг... разглядел её окончательно. В это время, будто по воле Всевышнего, среди затянутого тучами неба образовалось небольшое окно, и через него пролился на землю мягкий мерцающий свет, как раз на то место, где стояла Мария. И всё наваждение, до сих пор державшее Данилу в плену и наводившее на него сердечную судорогу, исчезло, развеялось, оковы пали. И он впервые понял, как она изменилась с тех пор, эта бойкая девчонка с мальчишескими ухватками. Вечно сжатые губы раскрылись прекрасным цветком, взлохмаченные волосики, соломкой торчавшие из-под панамки, были теперь подобраны аккуратными прядями и сверкали золотистым блеском, в озорных глазах появились и лучезарный свет, и вместе с тем печальная глубина. И вся её фигурка, ранее несколько угловатая, резкая, импульсивная, обрела чарующую плавность движений и привлекательную женственность, а в её былом писклявом голосе появились грудные ноты. И только маленькая ямка на подбородке напоминала о прежней Марийке. Данила смотрел на неё и глупо улыбался.

– Я так давно не видел тебя...

Конечно, они виделись ежедневно, можно сказать, и не расставались – оба работали на заводе, плечом к плечу. Но Мария прочла между слов и поняла это, как слабый отклик на её чувство, как первый и робкий шаг к сближению, и ухватилась за него с жертвенной самоотдачей. Она добилась своего, а дальше – как Бог рассудит. Их судьбы скрестились на самой высокой ноте, на переломе. Жизненная энергия Данилы, взбунтовавшаяся и вышедшая из берегов, неожиданно нашла отводное русло и была спасена...

Данила никогда не жалел, что женился на Марии Бессоновой. Но обида на брата засела в сердце болезненной занозой и напоминала о себе многие годы. А воспоминание об Эмме, подспудно, подсознательно, ещё долго мутило душу и бродило в крови, как тоска о несбывшемся, как неудовлетворённое желание.

Потом хоронили деда, белорусского партизана, бывалого лесника и охотника, сурового и справедливого человека, Данилу Трофимовича Гончарова. Братья стояли по разные стороны гроба, не глядя друг на друга, пока их отец, Василий Данилович, неловко переступая сапогами в вязкой, засасывающей ноги, глине, и как-то по-шутовски подёргивая головой, видимо, пытаясь совладать с собой, чтобы не разрыдаться, говорил усопшему: «Прощай отец! До скорой встречи...» А через год умер сам. Потом умерла мать, Наталка-Полтавка, женщина лёгкая, весёлая, с особым жизнелюбивым юмором. Правда, в последние годы она сдала, стала кручинной и слишком задумчивой и, безуспешно пытаясь примирить братьев, часто плакала...

А потом началась новая эра, и взаимоотношения братьев, и без того натянутые, превратились в критически непримиримые. В их сердцах установилась бесконечная междоусобная вражда, так хорошо знакомая нам по многочисленным примерам из истории родного отечества.

Уже в преддверии нового века, глубокой осенью, семью Гончаровых постигла новая утрата: ушла баба Глаша, приняв смерть тихо, с покорной улыбкой, как должное. Виктор попытался нажиться на продаже дедовского дома в Залесье, но здесь у него не выгорело – к его досаде, бабка в завещании отписала дом старшему внуку и его семье. А Данила был категорически против продажи.

5

...За десятки лет, прошедших со дня основания завода, в стране произошло много чего исторического: начало холодной войны между социализмом и капиталом, смерть Вождя и последующее развенчание культа его личности, освоение целинных земель, приоткрытие железного занавеса и всемирный фестиваль молодёжи в Городе, запуск первого спутника и полёт Гагарина, Карибский кризис, чуть было не кончившийся развязыванием третьей мировой, очередной виток закулисных игр в Политбюро и знаменательная смена политического руководства, спор физиков и лириков, советские танки на улицах Праги и начало периода, названного позже застоём, цинковые гробы из Афгана, смерть престарелого лидера застойного периода и последующие «гонки на лафетах», перестройка, учреждение президентства, ГКЧП, конец развитого социализма и начало дикого капитализма, возникновение многопартийности, невиданный взлёт опального секретаря Горкома КПСС, развал Союза, денационализация недр и производства, передел общенародной собственности и зарождение на этой почве олигархата и открытого бандитизма, чеченский кризис, распродажа земель и начавшиеся частные элитные застройки... плюс денежные реформы, которых, начиная с конца сороковых, было три и которые привели в результате к полному обесцениванию рубля и присвоению ему звания «деревянного».

Даниле было уже за тридцать, и ему нужно было кормить семью, когда страна взяла курс на обновление, начала стремительно и болезненно меняться, училась новому языку, новым отношениям, по-новому благоустраивалась. И только посёлок Глинянка даже на исходе века сохранял свой первобытный облик; разве что улицу заасфальтировали и деревянные столбы уличного освещения поменяли на бетонные, да и то, потому что старые сгнили и, покосившись, грозили падением.

Один сельмаг сразу выбился в люди, преуспел, резко похорошел и, возгордившись, взял себе неблагозвучное иностранное имя: минимаркет (с подзаголовком в виде русской фамилии, исковерканной на германский манер, «Козлофф»). В частных руках он основательно преобразился, встал на ноги. Расширился, обзавёлся витринами из стеклопакета с опускающимися на ночь роль-ставнями, оброс белоснежным сайдингом и покрыл себя красной металлочерепицей. Словом, из гадкого провинциального утёнка, издающего незабываемый запах – смесь мыла, селёдки, керосина и мануфактуры – превратился в гордого лебедя торгового бизнеса.

На его новомодном фоне, словно в насмешку, барачные сооружения полувековой давности выглядели совсем непристойно. Не только снаружи, но и внутри они катастрофически обветшали, пришли в негодность: крыши текли, штукатурка сыпалась, стены оседали, полы проваливались и при этом даже среди бела дня по коридорам нагло разгуливали крысы. А летом к этому присоединялись полчища гнусавых комаров и удушливые испарения гниющего дерева. Жители жаловались на всеобщую разруху, требовали, писали письма в начальственную контору, обращались к своему депутату, в местные газеты, устраивали голодовки, даже пикетировали однажды железную дорогу – ни ответа, ни привета. От газетных публикаций начальство втихаря цинично отмахивалось, а вслух пеняло на отсутствие бюджетных средств. И людей, многие годы приносивших выдрессированному их государству необходи-

мую пользу, забросили, как нелюбимых детей, предварительно вытерев об них ноги. Новая экономическая политика оттеснила их на обочину жизни, как досадный балласт, как отработанный материал, как шлак, предоставив им право выбирать: либо помирать голодной смертью, либо идти в услужение к новым предприимчивым хозяевам, для которых их бывшая преданность государству представлялась забавной несуразицей, пережитком ленивого быдла, не заслуживающего ни жалости, ни сожаления. К тому же завод, кормивший их все эти годы, после длительной приватизационной возни вокруг него в одночасье и вовсе прекратил своё существование...

Между тем, совсем рядом, «новые» люди действовали энергично и решительно: с жестоким азартом монгольских завоевателей золотым гребнем прочёсывали окрестные лесные уголья и напоённые смолистым духом животворные берега Струи; глядя поверх голов, скупали заселённые земли, вытесняли живущих на них коренных жителей, а если те упорствовали, помогали им найти короткий путь к могиле – спаивали, жгли дома, вырубали сады и леса и на их месте возводили, так называемые, элитные коттеджи с водозаборными скважинами, с подстанциями, с канализацией, с камерами слежения, с охраной – современные аналоги замка феодала, окружённые тяжёлыми каменными заборами, рвами-шлагбаунами. Что ни двор, то целое самодостаточное государство, эдакий «кремль в себе»...

Страна в ту пору старанием демократов, либералов, новоявленных олигархов и всякого рода чиновников, разворовывающих её по всем направлениям, развалилась на ряд государств и неуклонно стремилась к чужим идеалам, что было для неё разрушительно, если не гибельно.

...И пришло время разбрасывать камни и уклоняться от объятий...

Неугомонный, неутомимый Остап Бендер, где твоя капитанская фуражка? Где твои хитроумные и безобидные комбинации? Твои ученики обошли тебя в размахе и предприимчивости, но не заметили твоего романтического сердца. Ты выдавал себя за сына лейтенанта Шмидта, а им не даёт покоя слава Тамерлана. Они скупили не только все стулья, но и земли, на которых были воздвигнуты дворцы на извлечённые из этих стульев сокровища. Твой невинный местечковый бизнес они возвели во вселенское «кидалово». Ты тряс подпольных миллионеров, а они трясут всех подряд, включая стариков и детей. Они прибрали к рукам самолёты и пароходы, фабрики и заводы, леса и недра, города и страны. И когда грянул звёздный час мошенника, и когда воздвиглись пирамиды первоначального накопления, и когда бывшие товарищи стали называть себя господами и разделились на владеющих и зарабатывающих, вокруг кирпичного завода тоже разгорелись приватизационные страсти. События развивались по отработанной схеме. Виктор Гончаров, который к тому времени уже забрался на капитанский мостик завода, предложил Даниле, по братски, тридцать процентов акций, а себе он возьмёт пятьдесят. Данила посоветовал брату не зарываться. Он настаивал на коллективной собственности, он хотел всех работников завода сделать пайщиками на справедливой основе, то есть определить их доли в такой пропорции, которые соответствовали бы их участию в производстве или установленным на то время окладам. Но понятие справедливости уживается не во всякой голове. Виктору мало было и семидесяти процентов, он хотел ВСЁ (!) и потому категорически отказался от раздачи по бедности, как он выразился. Мало того, бесстыдно заявил, что тот, кто ломается целый день на производстве, не может быть собственником.

На вопрос Данилы «почему?», он изрёк насмешливо:

– Потому что так мир устроен. Одни владеют собственностью, другие на них ищат. Так было и так будет! А я не намерен быть ишаком!

Данила пытался воздействовать на совесть брата:

– Мир устроен так, как мы его устраиваем. Эти люди начинали раньше тебя. Они ничего не знали кроме своего завода. Здесь прошла их жизнь и жизнь их детей. И ты должен это понять. Это их завод. Ты не имеешь права отбирать у них то, что они нажили своим трудом.

В ответ Данила услышал:

– Никто никому ничего не должен!

– Чужие слова говоришь.

– Я с ними согласен. Пришло время деловых людей, и я не хочу упускать такой возможности. Я давно ждал этого. Так что, извини, братишка, подвинься.

На этом их пути разошлись окончательно. Данила из солидарности с коллективом и вовсе не счёл нужным участвовать в делёжке, чем развязал Виктору руки, и тот, не моргнув глазом, стал единоличным и полноправным хозяином предприятия. Поначалу завод кое-как перебивался – новые экономические позиции и юридические правила требовали серьёзной переориентации не только в головах, – но выжил. А когда вошёл в силу, обрёл, что называется, второе дыхание, на него позарился кто-то сторонний – поговаривали, что из самого Города – закулисно перекупил акции и оставил зарвавшегося хозяйчика с носом. Виктору Гончарову оказалось не по силам противостоять заезшему нуворишу, опекаемому в высших эшелонах власти и окружённому боевыми отрядами бывших спортсменов и оборотней нового поколения – скурвившихся представителей правопорядка, он разозлился на весь мир и пошёл топтать направо и налево, своих и чужих. А напоследок придумал аферу: скрыв от своих братьев, тех самых «ишаков», истинное положение дел, оперативно проканифолил им мозги и уговорил-таки вложить припасённые ими на чёрный день трудовые накопления якобы на модернизацию производства и даже выдал под них ценные бумаги, правда, липовые. А собрав кругленькую сумму, испарился, оставив обобранных им заводчан в печальном недоумении и без средств к существованию. Потом на заводе случился сильный пожар, и всё жители посёлка за одну ночь превратились в безнадёжно нищих и безработных.

Последняя встреча братьев закончилась трагически. Дело было поздней осенью, последней осенью второго тысячелетия, на следующий день после заводского пожара. Данила сидел на лавке возле своего барака, в длинной брезентовке, разбирал и чистил дедовский карабин, то ли готовился к охоте, то ли – ради порядка. Всё в природе затихло и замерло, надвигалась гроза. Полдненное солнце ровным светом озаряло опустевший посёлок. Жители разбрелись, кто куда. Одни отправились в лес по грибы, другие уехали на заработки, а в основном, народ разбежался по окрестным сёлам, под крыло родственников. Безработица диктовала свои жёсткие правила, впереди маячила зима, и нужно было добывать себе пропитание. На улице хозяйничали бездомные собаки да сороки обметали хвостами оконные карнизы и нахально долбили клювами по стеклу. В какой-то момент Данила задумался, полуприкрыв глаза и подставив лицо тёплым лучам солнца. Вдруг кто-то осторожно коснулся его руки. Данила вздрогнул. Перед ним стоял Виктор, взъерошенный, в куртке с разорванным рукавом. Данила окинул брата сердитым взглядом.

– Я знаю, ты меня ненавидишь, – начал Виктор. – Но... давай пока забудем все наши обиды. Всё-таки мы братья...

Данила скрипнул зубами.

– Мне это напоминает одну басню...

– Послушай, мне не до шуток!

– А я не шучу.

– Я... я разорён, понимаешь. Мой завод... наш завод, – поправился Виктор, нечаянно скривившись, – перекупил один воротила...

– *Нашего* завода больше не существует. А до твоего мне нет дела.

– Погоди, не кипятись... Он и дом у меня за долги отобрал. Я Эмку с Сашкой к теще отправил, в Иваново. Пусть там перекантуются...

– Разжалобить хочешь? Говори, что тебе от меня надо?

– Подкинь денюжат, а?

– ???

– В долг. Я знаю, у тебя ещё есть. Мне уехать надо. Они меня всюду ищут. Они могут и замочить... Ты должен мне помочь!

– Никто никому ничего не должен.

– Ты думаешь, я... я обязательно верну! И то, что раньше брал – тоже... как только... так сразу. Он всё равно от меня ничего не получит! Я потому и завод поджёл, чтоб ему не достался.

Данила вскочил, жилы на его шее вздулись, лицо побагровело. Неожиданно в нём проснулся дремавший до сего дня вулкан ненависти и изверг наружу огнедышащую лаву.

– Ты!!! Поджёл наш завод?!! – Данила сжал кулаки.

Виктор предусмотрительно отошёл на безопасное расстояние. Данила заметался, схватил карабин. И пока он нервно прилаживал недостающие части, Виктор опрометью бросился к лесу. Данила за ним. Через какое-то время в лесу прогремел выстрел. Потом – второй...

Ближе к вечеру небосвод охапила тяжёлая косматая туча.словно гигантское неопрятное животное, она разом навалилась на лес, на железную дорогу, на беззащитные дали Струи, раскидала свои размашистые лапы на север, на восток, на юг. Где-то на западе, за рекой, в разрывах грязно-фиолетовой туши, посверкивали свирепые глазища и дымились разверстая пасть. А над посёлком нависло чёрное разевшееся брюхо, готовое вот-вот разорваться и обрушить на землю содержимое своей утробы. Через полчаса зловещей тишины, изредка прерываемой глухим отдалённым ворчанием, зверь повернулся, стряхнул с себя трескучий каскад электрических разрядов и одним махом выворотил наружу накопившуюся влагу.

Вскоре из леса, под тяжёлые струи опорожняющейся тучи, не торопясь, словно не замечая непогоды, вышел человек в длинной брезентовке, с карабином в руке. Какое-то время он неподвижно стоял на высоком краю глинища и обозревал осиротевший карьер. Дождь, смешанный с градом, лил на опрокинутый на обочине самосвал, на безжизненную руку экскаватора с оборванной жилой, безвольно уткнувшую свой железный кулак в оплывающую глинистую стену, на валявшиеся в беспорядке по всему карьере, будто занесённые сюда недавним ураганом, ломы, лопаты, покалеченные деревянные настилы, обожжённые обломки досок, ржавые запчасти, искорёженные куски железа, на покривившийся остов бытовки.

Когда стихия отбушевала, человек в брезентовке, с карабином в руке, спустился в карьер, обошёл захламлённую территорию и также неторопливо, крупным шагом, направился в сторону посёлка. По пути заглянул под разорённые и почерневшие от недавнего пожара заводские своды, постоял у творильной ямы, заполненной дождевой водой и строительным мусором, побывал у развороченных печей, провёл ладонью по опрокинутой вагонетке и, окинув прощальным взглядом всё, что осталось от завода, быстро зашагал к баракам. Это был кирпичный мастер Данила Васильевич Гончаров. После яростного, но кратковременного, каприза стихии в природе установилась та бесконечная осенняя унылость, от которой у людей излишне впечатлительных так легко портится настроение. А если это накладывается на груз бытовых неурядиц и нерешённых проблем бытия, положение становится совсем невыносимым, хоть в петлю...

До самого Рождества Данила пребывал в подавленном состоянии. Его угнетали и отсутствие жизненной перспективы, и сознание собственной никчёмности. И ещё что-то непередаваемо ужасное, о чём он упорно молчал. Каждый день, с раннего утра, под предлогом охоты, он уходил в лес и пропадал там до самого вечера. Новый год, завершивший череду двадцати столетий христианского календаря, встретили по-семейному, но безрадостно. Дети проводили все дни на улице, в зимних забавах. А жена, несколько раз задав вопрос «Что с нами будет дальше?» и не дождавшись ответа, уже больше не смела тревожить мужа, и, положившись на судьбу, продолжала терпеливо управляться по домашнему хозяйству. После Рождества Данила лёг на диван и пролежал неподвижно двое суток, то глядя, не моргая, на мощный крючок в потолке, державший жёлтую люстру, то забываясь в мучительном сне.

В окно скреблась январская метель, и когда ей удавалось протиснуть сквозь щели свои ледяные щупальца, бесшумно играла занавеской. Где-то под полом возились крысы. Днём из общего коридора постоянно слышались то приближающийся, то удаляющийся топот детских ножек, взвизги и крики «Мама, я хочу котлетку!» или «Не буду я спать!». По вечерам – неясный торопливый разговор, прерываемый то женским смехом, то отчаянной и пьяной матерщиной, то приглушёнными рыданиями, и неразборчивый бубнёж соседского телевизора с резкими всплесками осточертевшей рекламы. А по ночам – какие-то дикие крики за окном, резкое хлопанье наружной двери и слоновье шарканье. Несколько раз в комнату заглядывала жена, она хотела поговорить с мужем, но, натываясь на его обречённый взгляд, тут же теряла дар речи и тихо притворяла дверь. Данила ни разу даже не пошевелился. О чём он думал? Возможно, ни о чём. Его мозг пребывал в прострации, в безвыходном тупике. Потому уши не слышали, глаза не видели, и только сердце одиноко совершало свою, начатую ещё в утробе матери, невидимую работу.

На третьи сутки Данила встал, тепло оделся, покидал в старый дедовский рюкзак кое-какие вещички – собрался в дальнюю дорогу. Выходя в коридор, столкнулся с женой. Она шла с холода, съёжившись. На плечи накинут старый латаный полушубок, в волосах блестят растаявшие снежинки, кончик носа малиновый, синие круги под глазами – выносила мусор и теперь возвращалась с пустым ведром. Мария вздрогнула от неожиданности. На её обескровленном лице возник молчаливый вопрос. Данила ответил мрачно и коротко: «В Город, на добычу». И уже пошёл к выходу, но что-то заставило его вернуться. Он взглянул на спящих детей, потом подошёл к жене... В какое-то мгновение ему захотелось как-то приласкать её, обнять... Но он почему-то не сделал этого. Только мимоходом, как бы невзначай, коснулся её руки, словно прощаясь, молча открыл дверь и вышел на улицу. Было ещё темно, поддувало. Резко проведя кулаком под глазами, он быстро прошёл в конец улицы, миновал клуб с полуразвалившимися, обнажившими свою фальшивую сущность, колоннами и свернул к реке, а перейдя неширокую Тоню, скованную льдом, углубился в заречные леса...

6

Он брёл по лесу долго, изнурительно долго, с упорством первопроходца переставляя онемевшие ноги и неизбежно поражаясь тому обстоятельству, что ещё остались в России леса, по которым можно шагать целую вечность. И вот заблудился человек в родном тридцатом государстве. «Широка-а страна моя родна-ая»!.. Необъятно царствие леса... Сколь его ни изводят, сколь над ним ни измываются, а воля к жизни у него не убывает, стоит, болезненный, стоит и вопреки опустошительным набегам человека, кормит его, согревает, укрывает от непогоды, одаряет здоровьем, образовывает, иногда порицая молчаливой мудростью, и... просто радуется своим существованием. Затеряться бы под его сберегающей сенью и жить себе вдали от сильных мира сего, диктующих правила бытия, как сделали в своё время непокорные старообрядцы: ушли, растворились в глуши и не достать – долго и нечем...

Куда там! Теперь это невозможно даже в помышлении. Триста пятьдесят лет назад и лесов было погуще, и людей пореже. И вера была. А из благ цивилизации: пистоль да лошадиная повозка. А теперь... зашкаливает. Соблазны гнетут. Куда ни плюнь, всюду вешки технического прогресса. Трудно отказаться. Да и на личную независимость смотрят с прокурорским подозрением. Живёшь себе, живёшь, маешься один на один со своими проблемами, никому не нужный. А как начнёшь шевелиться, чтобы каким-то образом обустроить свою единственную, данную тебе на неопределённое время жизнь, сразу всем есть до тебя дело: «А по какому праву вниз ногами ходишь? По какому праву головой работаешь? А почему за землю не платишь, на которой живёшь? За воздух, которым дышишь? За воду в реке, которую пьёшь?» И тут же объявятся на твоём пути душегубы всевозможного замеса: самостийные мытари с большой дороги, завистливые коллеги, неугомонные родственники и освящённый законом бандит с портфелем – бессмертный российский чиновник. Как с цепи сорвутся. И набросятся скопом, и пойдут гнобить, мозги сушить, руки-ноги выворачивать, словно тебе на роду написано быть мусором в глазах тех, кто себя в этом мире единственным правоправным устроителем почитает...

Довольно! Размашисто, на ходу, он ударил по еловой лапе. Довольно о них, много чести! «Я другой... такой страны... не знаю... где так вольно дышит... человек...». Язык поёт одно, а мысль диктует своё: где так вольно обходятся с людьми... Какой парадоксальный перескок!.. От «вольно дышит» к «вольно обходятся»... кто? что? – кем? чем?... Тут ведь не только падежи поменялись... *Вольно – воля – волевой – вольница – безволие – невольно – произвольно – произвол...* У! Перебрал на вскидку слова с одним корнем и вот что получилось: составила смысловая цепочка от *вольно* к *произволу*! Его воображение всегда будоражило неуловимое и притягательное понятие *воли*. И применительно к миру, и применительно к себе. Вот говорят – воля Творца... А у того, кого Он якобы сотворил, есть *своя воля*?..

Он не был ни филологом, ни философом, он был обыкновенным работающим мужиком, на каких земля держится, династически работающим. Он, Данила Гончаров, был мастером по изготовлению кирпичей и каждый трудовой день приступал к делу не с ленцой, уж очень распространённой в наших краях, а с каким-то сосредоточенным первоначальным усердием, присущим новичку; к тому же, его интерес к пластическим свойствам глины не ограничивался кирпичами, а выходил далеко за рамки производства. Он был ещё и блестящим скульптором-самоучкой, создателем малых пластических форм, автором обворожительных фигурок леших, домовых, водяных и прочих персонажей русского фольклора, воплотивших в себе поэтическую причудливость и врачующую энергетику народной фантазии.

Но помимо умения делать хорошие кирпичи и удивительные фигурки, он был ещё и доморощенным мыслителем. И это доставляло ему не столько интеллектуальное наслаждение, сколько массу мучительных сомнений... И теперь, когда он в поисках дороги к Городу, с дедовским рюкзаком за плечами, пробирался через зимний лес и вынужден был усиленно работать мышцами, его голова пошла, что называется, в разнос – мысли бурлили в ней, как растревоженные осы в своём гнезде... Его одолевали думы о справедливости и о возмездии за совершённое зло. Есть ли пределы человеческой безнаказанности? Сам он в практической жизни всегда старался следовать негласным внутренним законам, соотносимым с известными заповедями. Но когда начинал размышлять о человеческих деяниях, в надежде докопаться до причинности вещей и определить закономерности, то часто не мог свести концы с концами. Что нередко случается – уместно будет сказать в его оправдание – и со многими завзятыми говорунами, трактующими изменяющуюся действительность на свой лад и сделавшими философию своей профессией...

Не останавливаясь, боковым зрением увидел, как метнулась слева меж стволов тяжёлая тень, призрачно, скачкообразно. И хрюкнула коротко, утробно, с визгливой завитушкой

в конце. Ещё одна, теперь – справа, с таким же хрюком, мелькнула и исчезла, проморгалась, как соринка в глазу. Ей вдогонку ещё одна тень пробежала по сетчатке, и вдруг замельтешили во множестве, наплывая одна на другую, справа и слева одновременно. И дрогнула земля, и сбросили ели морозную тяжесть, и полёг мелкий подлесок, и замелькали в глазах чёрные тени, с глухим храпом прошуршали по белому насту и утекли, как живая шерстистая река, оставив за собой развороченную снежную межу. Это стадо диких кабанов совершало свой зимний переход и, раздвоившись, обошло его с двух сторон, омыло, как дерево, как неожиданное препятствие. Он даже не успел испугаться. Гены не подвели...

Эх, деда нет! Он бы сейчас наставил его на путь истинный. Да присовокупил бы к этому хороший подзатыльник – за отсутствие элементарного чутья. Бессмысленное блуждание по лесу было ему неведомо. Здесь ему не нужны были ни карта, ни компас. Он и с закрытыми глазами не сбился бы с дороги. Он не кружил по лесу, он его по-хозяйски обихаживал.

Данила хорошо помнил, как однажды, в детстве, попросился с дедом в очередной обход. Лесник не хотел брать восьмилетнего пацана – мал ещё. Но Данилка не отставал. И дед, как говорится, дал слабинку – не в силах отказать любимому внуку, согласился, но сразу предупредил: «Пойдёшь сам. А станешь капризничать, брошу». Тогда тоже была зима. Морозец настойчиво пощипывал за нос, и вскоре края заячьей шапки, туго подвязанной жёсткой тесёмкой и натирившей при ходьбе нежный мальчишеский подбородок, покрылись белым налётом. А дедовы усы и борода у дымящейся лунки рта заросли инеем. Но оба чувствовали себя бодро и весело. Снег только что выпал и потому был мягким, неглубоким и приятно хрустывал под ногами. На всякий случай прихватили лыжи. Первые два часа Данилка хорохорился, обгонял деда, поскольку тот не раз останавливался, делая на деревьях какие-то пометки и обследуя лесные овраги. Потом встали на лыжи, чтобы ускорить движение. И тогда Данилка начал отставать. В какой-то момент он замешкал, поправляя съехавшее с валенка лыжное крепление. А когда поднял голову, деда рядом не оказалось. Данилка растерялся, позвал его робко – глухо, звук поглотила мохнатая еловая зелень. Позвал громче, с невольным проявившимся надрывом, но в ответ услышал только стрёкот испуганной сороки. Данилка обмер, по телу побежали устрашающие мурашки. И живот подвело. И сердце застучало отчаянно. Данилка сбросил лыжи, кинулся в одну сторону, в другую – деда нигде не было. У мальчика перехватило горло, зашумело в ушах, ноги ослабли, и через пару минут он осел подтаявшим сугробом, и стоял на коленях в лесном храме с обмирающим сердцем, а щеки резали жгучие ручейки...

Дед отделился от матёрого ствола ели хмурый, сердитый. Почему же Данилка раньше его не заметил? В лесу дед невидим. В лесу он свой. Лес его прячет, по старой партизанской привычке. Увидев деда, Данилка встрепенулся, но, теперь уже охваченный стыдом от возможного дедовского презрения, продолжал беспомощно стоять на коленях. «Угодил заяц в клепцы, ополохнулся!» – пробасил дед недовольно. – Ну-ка, поднимайся и топай ко мне». Данилка, хватаясь руками за воздух, кое-как встал на ноги и приблизился к деду. «Мы с тобой как шли?» – «На лыжах». – «Ну вот, начал соображать. А от лыж на снегу остаётся что?» – «Лыжня». – «Верно. А теперь глянь-ка сюда. Вот я шёл-шёл, и за мной тянулась лыжня. А потом...» – дед указал на снег рядом с собой. «Кончилась...» – пробубнил Данилка. «И куда же я, по-твоему, делся?» – «Не знаю». – «Пока ты возился с креплениями, я снял лыжи и притулился к старой ёлке, – дед уважительно похлопал по толстому чешуйчатому стволу. – Вот и весь фокус. Я тебе так скажу: даже если со мной и случится что, ну, там... провалюсь сквозь землю или воспарю под небеса, и тогда незачем отчаиваться. Вставай на лыжную и чеши в обратную сторону. А кончится лыжня, по следам шуруй, следопыт! Всякое живое существо всегда оставляет следы. Надо только разуть глаза и подключить голову. И ещё запомни: ты здесь родился. Это твоя земля. И бояться тебе в лесу нечего». И вдогонку сказанному буркнул сердито: «Человеку только себя следует бояться». Это было уже

совсем непонятно Данилке – как можно себя бояться?.. Уставший и приунывший от дедовского урока, он совершенно скис. «Ладно... Малой ещё. Привыкай. Тренируй волю. Жизнь, брат, такая штука... Всегда надо быть начеку. Как на войне. И распускать сопли по каждому поводу не годится».

После того, как они подъели собранные бабкой харчи, Данилку повело в сон, он раскрыл рот в зевке, но, увидев колючий дедовский взгляд, замер. Дед улыбнулся в бороду, хлопнул внука по шапке, сказал: «Хочешь, сказку?» – «Хочу». – «Тогда вставай на лыжи и шагай до дому, а я за тобой». Данилка с готовностью вдел ноги в жёсткие, прошитые суровой ниткой, кожаные колечки на лыжах, подвязал их верёвочкой к валенкам, чтоб не спадали, и заскользил по накатанной лыжне. А за его спиной, размашисто переставляя широкие охотничьи лыжи, шёл дед, и в уши Данилки полилась старая, правда, рассказанная дедом на свой лад, сказка о сильномогучем Никите Кожемяке, победившем кровожадного змея...

«...А жил тот змей в неприступной горе, в глубокой пещере. И звали его Змей-Горыныч. Днём Горыныч спал, а по ночам людей ел». – «Люде-ей?» – Данилка застопорил движение, оглянулся. «Не останавливаться! – приказал дед и продолжил свой сказ. – А ты чего от него хотел? Змей он и есть змей. Норов коварный, утроба ненасытная. Кровавой данью народ обложил, власть показывал. Каждую ночь с каждого двора по красной девке брал». – «А почему ночью?» – «Такой у него распорядок был. Днём спал, а ночью за добычей летал и харчился, значит. Возьмёт девку да съест. И народ против него не шёл». – «А почему не шёл?» – «Вот и скажи тебе, почему – змей тот сильный был, всех в страхе держал. Если не по его будет, грозился город порушить, а народ в кабалу загнать, на каторгу, значит. И вот настал черёд царской дочери к людоеду на ужин идти. Схватил змей царевну, затащил в пещеру, а есть не стал». – «А почему не стал?» – «Красавица была. Глаз не отве-сти. Как твоя бабка в молодости. А перед красотой, брат, даже змеи пасуют. И взял Горыныч царевну в служанки. Запрёт её на ночь в пещере, а сам за добычей отлучается. Так и жила она у него взаперти, без права переписки, без света белого. А у царевны любимая собачка была, мелкая, вертлявая, и чёрная, как сажа. Увязалась та собачка за своей хозяйкой, а змей в темноте её и не заметил». – «А какой породы собачка? Пудель?» – «Да какой там пудель! Так, мелкота, то ли шмиц, то ли шпиц. В кармане умещалась. И стала эта собачка при ней, при царевне, значит, вроде тайного почтаря. Бывало, напишет царевна письмецо к отцу с матерью, за шею собачке привяжет, а та и отнесёт. Да ещё и с ответом возвратится. И вот как-то пишут царь с царицей: мол, разведай у змея его секрет, узнай, есть ли на свете тот, кто его одолеть сможет. Стала царевна к змею поласковой. То компоту из крапивы наварит, то оладьев из лопухов напечёт. И, как бы ненароком, будто для забавы, поинтересуется у Горыныча, кто на свете его сильнее. А змей, знай, отмалчивается, только шурится да дым колечками из ноздрей пускает. Тогда пошла царевна на хитрость: приготовила напиток покрепче, позабористей, чтоб змея до костей пробрало – заварила белены, побросала туда мухоморов да поганок сушёных, да змеинового помёту, да волчьей ягодой сдобрила. Хватил змей чарку, другую – тут его и развезло. Разомлел, расквасился, да и разболтал свой секрет. Есть, говорит, такой. В городе проживает, Никитой прозывается, кожевенных дел мастер Никита Кожемяка. В его руках, говорит, силища такая, что ни один змей ему нипочём! И вот на утро посылает царевна собачку к родителям с радостной вестью. Обрадовались царь с царицей, отправились к Никите Кожемяке с поклоном, стали упрашивать, чтоб он избавил город от змея, а заодно и царевну освободил. И посулили ему за это мешок золота. А Никита в ту пору кожи мял. Как узнал он, зачем к нему царь с царицей пожаловали, да как задрожит, да как порвёт все заготовленные кожи на мелкие кусочки...». – «А почему он их порвал?» – удивился Данилка. «Испужался». – «Так ведь он сильный, сильней змея!» – «Слушай дальше... Как царь ни уговаривал Никиту, не посмел он против змея пойти. Спрашивает царь, отчего Никита боится, чего опасается, когда в руках у него такая

силища. Отвечает Никита: – Одними руками змея не одолеть, надобно кураж обрести. Без куража гиблое дело. – И какой тебе кураж надобен? – спрашивает царь. – А такой кураж, отвечает Никита, чтоб о себе забыть и страха не ведать. – Вот собрал царь со всего города тысячу сирот малолетних и заставил их просить, умолять Кожемяку город спасти. Как услышал Никита детский плач, как увидел Никита детские слёзы, то и сам прослезился. И сказал себе: – Неужели слёзы тысяч сирот не дороже моей жизни? – И выиграла в нём сила богатырская, и пошёл он на змея. Пришёл к горе, стал вызывать змея на честной поединок. Услыхал змей Никиту, в пещеру забился, не выходит, больным сказался. Рассердился Никита Кожемяка, разметал камень, выволок змея на свет божий и придавил его к земле-матушке. Тут змей и взмолился: – Не убивай меня, Никитушка, до смерти! Сильнее нас с тобой никого на свете не бывало! Разделим весь мир поровну и будем владеть каждый своей половиной. – Хорошо, – отвечает Никита, – только сперва надо между проложить, чтобы знать, кто чем владеет. – Соорудил Никита соху в триста пудов, запряг в неё змея Горыныча и стали они между пропахивать. Соха тяжёлая, земля вязкая, пыжится змей, кряхтит, но ползёт. Разделили землю. – А теперь, говорит Никита, будем море делить, а то скажешь, что я твою воду беру! – Плывёт змей по шейку в воде, а Никита за ним на барке поспешает, буйки ставит. Разделили море. – А теперь, – говорит Никита, – будем воздух делить. – Уморился змей, еле дышит. – А как, спрашивает, воздух надо делить? – А так, отвечает Никита, ты лети до самого солнца, а я твою траекторию буду на земле размечать. – А может, ну его, с воздухом, говорит змей, обойдёмся. – Экий ты, братец, ленивый, отвечает Никита, делить так всё без остатка. А то скажешь потом, что я твоим воздухом дышу! Лети, отрабатывай собственность! – Выпил змей Горыныч остатки напитка, что царевна ему приготовила, взбодрился и взмыл в небеса, но... до солнца не достал...» – «Почему?» – «Горячее кончилось... упал замертво в море. Тут и сказке конец». – «А царевна?» – спросил Данилка, когда дед замолчал. «А что царевна, вернулась во дворец, к царю-батюшке да к царице-матушке». – «А Никита Кожемяка?» – «Домой вернулся и взялся за своё дело, стал новые кожи мять». – «А мешок с золотом царь ему отдал?» Дед усмехнулся. «Ишь, ты, про золото помнишь! Он предлагал, сдержал слово, да Никита не взял». – «Почему?» – «А он сказал царю, что за святое дело не торгуются». – «Святое?» – «А как же не святое! Красные девушки стали жить-поживать, горя не зная, и дети не плачут. А ты говоришь!»...

Когда сказка подошла к концу, они уже были в десятиминутной ходьбе от дома. И тут дед не выдержал, прикинулся верблюдом, и во двор полусонный Данилка въехал, как арабский шейх, сидя верхом на дедовом горбу...

...Он шёл и шёл, согбенным бревном качаясь меж тёмных стволов и безуспешно борясь с нараставшей усталостью. Глубокий снег не отпускал, притягивал магнитом. Спина ломалась, ноги подкашивались – колени пронизывала острая боль, будто в них заколачивали гвозди, руки отнимались – устали ходить маятником. Отбросить бы эту обузу в сторону и повалиться в беспамятстве на снежную перину... Горло то и дело пересыхало. Он всеми способами экономил силы и чтобы не наклоняться, на ходу окунал лицо в заснеженные еловые лапы, хватал ртом холодную рассыпчатую влагу и глотал. И, собирая волю в кулак, шёл дальше, не поднимая головы, не разбирая пути, лишь бы не останавливаться. Из посёлка вышел затемно. В январе ночи длинные. Последнюю неделю электрички не ходили. Потому отправился на своих двоих. Хотел добраться до ближайшей трассы часа за три, пошёл напрямик, через ледовую шубу Тони, чтобы путь скоротать, и вот... заплутал невольно...

Наконец, остановился, чтобы отдышаться, поднял голову и увидел чёрную необозримость. В лесной прорехе открылся кусок космической дали, изъеденной звёздами. А среди звёзд плыла луна с красноватым ущербом, будто надкушенная кровавым ртом. На бледном поле Луны невнятно намечалась замысловатая картинка. Словно кто-то показывал гигант-

скую проекцию с Земли, неразборчивую за дальностью. Вселенский теневой театр... Первоначальная мистерия человечества... «Каин убивает Авеля» – бабка Глаша говорила, вдруг вспомнилось ему. Маленьким он тыкал пальцем в полнотелую луну, а бабка пугалась: нельзя! – плохая примета. Но он всё равно тыкал, издевался над бабкой, над её старорежимными предрассудками. Задорно тыкал, с детской жестокостью – пусть побесится, помучается! Помирать давно пора, а она диктует: как надо! Отживающее должно сгинуть, чтобы не путаться под ногами вослед идущим!.. Да, хорош был, маленький гадёныш!.. А кто сказал, сколько человеку надо жить и когда исчезнуть? Кто это решает?.. «На всё Божья воля!» – это она тоже талдычила при каждом удобном случае. Для верующих воля едина: Его воля, другой не существует. Какая может быть *воля* у рабов Божьих?.. И что же это за воля, Его воля, если Он позволил брату убить брата? Если человек без Божьего благословения *вольнo* распоряжается судьбами других, таких же затерянных на этой космической пылинке, именуемой тяжело и основательно «Земля», то в чём тогда Его воля?.. Я вас создал, а теперь живите, как хотите?.. Сможете жить по-человечески, ваше счастье. А нет – туда вам и дорога!.. И вдруг само собой напросилось язвительное богохульство: а может быть, в этом и была Его воля – чтобы один из его рабов убил другого?.. Главное, зародить «забавную» традицию... А потом наблюдать, как она будет развиваться... Да нет, тут пахнет имперским Римом и боями гладиаторов...

Прошёл ещё немного, нет, не прошёл, проволочил ноги, и лес, наконец, сжалился, распахнул игольчатое лохматё – впереди обозначился открытый взгорок и засыпанное снегом жильё: с десятков чёрных изб дыбилось из-под сугробов угловатыми силуэтами. Над крайней приземистой избушкой, как над затухающим пепелищем, курился дымок. А в покривившемся окошке теплился огонёк...

2.Блудная дочь

1

Данила перелез через ветхий, повалившийся под натиском снежной бури, заборчик. Калитка была с другой стороны, а здесь проглядывала сквозь наметённый снег хоженная тропинка. Взобравшись по крыльцу в разорённые сенцы, загромождённые ведрами, банками, лопатами и прочим хозяйственным скарбом, он бухнул окоченевшим кулаком в массивную, набранную ромбом, дверь. Звук утонул в старом дереве. Погодя, бухнул ещё, посильнее. В ответ только порывисто запуржило по углам да бесформенный кусок ссохшейся краски, отвалившись от двери, бесшумно спланировал под ноги. Тогда он дёрнул за металлическую ручку – дверь оказалась незапертой, к тому же приземистой – с трудом управляя отяжелевшим телом, он ударился головой о косяк и буквально впал в избу, скользнув рукой по заиндевелой притолоке. Спёртый воздух – смесь едкого дыма, кислого духа прачечной и сивушного перегара – бритвой резанул по глазам, кляпом застрял в горле, вынудив его зажмуриться и задержать дыхание.

Присмотревшись, он стал различать очертания предметов. Так на потемневших полотнах старых мастеров постепенно обнаруживаются ранее незамеченные детали. Вот слева обрисовался дверной проём, завешанный портьерой с вышитыми на ней гладью, по моде пятидесятых годов, цветочными корзинами. Далее скупыми мазками обозначился колченогий табурет с прислонёнными к нему куцом веником и ржавым топором. За табуретом всплыл угол закопчённой печи с полукруглым устьем, в недрах которого отметился матовым блеском край широкой посуды – таз. За печью, по стене, разбросанно припиленные булавками к старым обоям, красовались выцветшие и засиженные мухами картинки из журнала «Огонёк»: репродукции старинных живописных портретов дам и кавалеров в кружевных воротниках и карамельные пасторали. Под ними стояла металлическая кровать с тускло мерцающими на спинках набалдашниками. На кровати, по грудь укрытая лоскутным одеялом и выставив наружу спёкшиеся мощи, покоилась старуха. Ближе к её изголовью висели обрывки обоев, образуя изборождённое глубокими царапинами тёмное пятно, словно кто-то долго возил по этому месту когтистыми лапами. В ногах у кровати стояла тумбочка с допотопным телевизором. А над самым изголовьем, на другой стене, криво висели ходики без стрелок. И под ними – невысокий поставец с разнокалиберной посудой.

Он повёл взглядом в поисках источника света и увидел женскую фигуру в красном махровом халате на голое тело, понуро сидящую за столом, застеленным бывшей когда-то белой скатертью с неожиданным, явно контрастирующим обстановке, искусным кружевным подзором. Тусклый свет керосиновой лампы освещал голову молодухи и белые округлости, выступающие из-под небрежно распахнутого халата. Ей было, наверное, около тридцати. Мальчишеский овал головы создавали светлые, ранее коротко стриженные, но уже отросшие, волосы, одинокими прядками ниспадающие на чистый правильный лоб, плавно переходящий в слегка изгибающуюся кверху линию носа. Надбровные дуги, немного выдающиеся, довольно прямолинейные и обычно придающие лицу насупленный вид, лежали спокойно и говорили о твёрдости характера. Небольшой рот, с резкими запятыми по бокам, вместе с нижней, по-детски выпяченной, пухлой губой, выражал какую-то древнюю, переходящую из рода в род, затаённую обиду и перечёркивал этим портрет рисуемый бровями, настаивая на внутренней незащищённости и даже беспомощности. И, наконец, глаза, большие, несколько утопленные и необычайно тёмные для светловолосых, словно колодцы с мерцающей в глубине водой, составляли главную тайну молодухи. Даже синяки и запойные отёки возле глаз не могли скрыть её молодости и женской привлекательности. Перед молодухой

лежала большая кукла, закутанная в тонкое шерстяное одеяльце, и стояла бутылка с остатками прозрачной жидкости и натянутой на горлышко шарообразной соской. Молодуха отрешённо смотрела прямо перед собой, одной рукой облокотившись о стол и обхватив ладонью подбородок, а другой с механической неодушевлённостью водя по кукольной головке. Если бы не это движение, женщина спокойно сошла бы за искусный экспонат музея восковых фигур.

Он стянул шапку, шагнул с порога, задев рукавом за ковшик, висевший у двери. Тот сорвался с гвоздя и с металлическим звуком ударился о ведро. Ведро, стоявшее на самом краю скамейки, покачнулось и свалилось с грохотом, выплеснув на пол остатки воды.

Молодуха резко обернулась на модернистскую симфонию железных инструментов, и её мгновенно затянуло в вихревую воронку страха, необоримого, панического страха – она вскочила, съёжилась, схватила куклу и, крепко прижав её к груди, отпрянула вглубь избы и затряслась в истерике.

– Ааааа! Ма-ама, они нашли меня! Не хочууу!!!

И этот отчаянный крик ледоколом врезался в его уши, протаранил сознание. Он попятился к двери, на ходу поднимая ведро, вытянул руку в успокоительном жесте.

– Тихо, тихо... Не бойтесь...

Молодуха смолкла и, вытянув шею, прищурилась, как бы вглядываясь в вошедшего, и тут же отбросила куклу, простёрла руки призывно и кинулась к неожиданному гостю: «Ва-а-а-а!!! Верну-улся!!!»

Старуха, которую он поначалу принял за покойницу, завозилась на постели, захныкала, заскребла по стене изуродованными тяжёлой работой пальцами.

Он мягко отстранил обвившие его руки.

– Вы обознались.

Молодуха замерла, на её лице дрогнули и переполнились влагой два бездонных колодца. С силой приглаживая волосы растопыренными пальцами, она почти пропела, пьяно растягивая гласные:

– Козлятушки-обознатушки! – и тут же ляпнула с глупой улыбкой: – «Не ждали», картина Репина! – и, громко икнув, отошла к столу и давай щебетать с показной беззаботностью: – Вот и валет объявился! Как ты нагадала, мать! Не зря я тебе картишки презентовала. Да ты можешь на этом бабки зашибать! Стопку заслужила. – Она поиграла бутылкой и сунула её матери. – На, соси. От себя отрываю, – и прибавила глухим басом, с оттяжкой: – И захлебнись ею, алкоголичка чёртова!

Преодолев свою немощность, старуха жадно вцепилась в бутылку, сорвала соску, опрокинула в рот, и, поперхнувшись, извергла скрипуче:

– Катька-а... воды!..

– Перебьёшься, – бросила молодуха походя и, отфутболив куклу, лежащую на полу, подошла к столу, выкрутила фитиль в лампе, отчего в избе заметно прибавилось свету. Лицо молодухи разгладилось, посвежелось, щёки запылали, в глазах заиграли торжествующие огоньки.

– Проходи, Вася!

– Данила я.

Катерина фыркнула по-лошадиному, отчего брызнувшая слюна зашипела на ламповой колбе:

– Данила – уши из винила! Голова из кости, приходи к нам в гости! – хохотнула и нахмурилась, выпятив нижнюю губу. – Кончай нудить, мужик! Ва-а-а-а, не Ва-а-а-а... мне без разницы. Женщина унижается, сама напрашивается, а он на пороге... выставился! – и тут же выплеснула просительной скороговоркой: – Выпить найдётся?

Данила с трудом держался на ногах, но пройти не решался. Хотелось спокойно переночевать и двигаться дальше. Но, видно, не судьба. Надо разворачиваться. Он провёл холодной ладонью по лицу, встряхнулся.

– Я бы сам сейчас хряпнул... Но... – развёл руками, – пуст.

– Пуст, говоришь? – спросила Катерина истерически-высоким голосом и тут же сошла на суровые низы: – Тогда зачем припёрся?

– Я в Город шёл...

Катерина вдруг заговорила отчуждённо, едва шевеля сухими губами:

– В какой ещё город?.. Тут города сроду не бывало.

– А что за деревня? Не припомню...

– А кто о ней теперь помнит... Была Потеряха и нету. Вся в землю ушла. Кого волки съели, кого закопали, кто съехал. Одни ёлки остались. Да вороньё. Да мы вот с маманей застряли тут... Как занозы в чьей-то жо... – и спохватилась, прикрыв рот игривой ладошкой. – Ой! Дико извиняюсь!

Данила соображал, как ему быть. Хозяева не в себе, обе под хорошим градусом. На нормальное гостеприимство рассчитывать не приходится. А силы на исходе. Не в сугробе ночевать, в самом деле. Прилечь бы... хоть у порога.

– Такая история: заблудился я... Иду с утра... Мне бы переночевать...

Катерина, не замечая критического состояния нежданного гостя, и словно не слыша его, покладисто махнула рукой:

– Не тушуйся, мужик. Это я так, со скуки набросилась, – и, приподняв плечи, шутовски потёрла ладонями: – Покурим?..

– Не курю, – глухо ответил Данила, неожиданно для себя качнувшись из стороны в сторону.

Катерина, глядя на гостя исподлобья, вздохнула с горловым звуком, протяжно, досадливо.

– Темно, говоришь? Твоя правда, Вася, темно... Так и проживём в темноте, – и вдруг спросила с деланной томностью: – А ушки у тебя имеются? – и, распахнув халат пошире, привстала, выставила круглый живот, наводяще тряхнула оголённой грудью.

– Что?..

– Деньги есть? А то можешь попользоваться, пока я добрая.

Старуха беспокойно завозилась на кровати. Принятая доза алкоголя придала истощённому организму видимость бодрости. Она даже посмела возразить дочери, за что и получила тут же оплеуху.

– Катька!.. – застонала старуха, тяжело выговаривая слова, будто вылавливая их беззубым ртом из спёртого воздуха. – Чего привязалась к человеку... Видишь, он с холоду...

Катерина метнула в мать жёстким матерком.

– Не хулюгань, Катерина.

– А ты не дребезди! Не с тобой базарю! Думаешь, и тебе перепадёт? Перебьёшься! Ты своё отъелозила...

У-у! Данила попятился к двери. Попал петушок на бал! Избушка, избушка встань ко мне передом, к лесу задом! Встала. В углу, на железной кровати, баба-яга костями гремит. А посреди избы – русалка заблудшего путника охмуряет. Чего доброго, и леший притаился где-нибудь за печкой, с дубинкой... Или Кощей зажал в костлявой руке своё бессмертное яйцо... Шёл на заработки, а попал... на стриптиз. Это у нас пока наиважнейшее завоевание хлынувшей горлом демократии...

От голода, зловония и угарного приёма у Данилы потемнело в глазах, и, чтобы не свалиться от слабости, он выскочил на воздух, бросив:

– Извините...

Когда дверь захлопнулась, Катерина сразу заскучала. Прикрутила фитиль в лампе, из экономии. Выдвинула из печки таз, помешала бельё, задвинула обратно. Прошлась от печки к столу. Затем вернулась. Заглянула в тёмную комнату. И вдруг поняла, что неожиданный гость не вернётся – спугнули мужика пьяные бабы.

– Спёкся кавалер, слинял, – заключила Катерина и набросилась на мать: – Ду-ура! Отдавай мою водку! Нечего добро переводить! – а увидев пустую бутылку без соски, завопила кликушески: – Всю выхлестала, гааадина припадочная! Кто тебе велел соску сдёргивать, а?!

Старуха захныкала, её подагрические пальцы запрыгали по одеялу в виттовой пляске. Катерина замахнулась на мать бутылкой, но тут же отбросила её в сторону, и стояла, тяжело покачиваясь, с безвольно обвисшими руками.

— В кои-то веки живой человек объявился... И вот ушёл... А всё из-за тебя! Что жрать-то будем, Матрёна Иванна? У меня тыщёнка где-то заныкана... И всё! Конец нашей лавочке! Больше ни копыя! Ты — инвалид... по собственному желанию... А я без работы, без паспорта... Ловушка захлопнулась! — и снова расходилась, обхватив голову руками: — Понимаешь ты это, гримза вонючая?! Всю жизнь мою испоганила, бесовка! Васю моего... споила и схавала ни за что ни про что! Как нечего делать! Змеюка ты! И меня за собой в могилу тянешь? Нет, не возмёшь! Я жить хочу! — и запричитала: — И зачем я сюда припёрлась, дура! В очередной раз вляпалась, и теперь уже по уши... Сбежала от одной тюрьмы к другой!.. Кто же знал, что у вас тут полный падёж... Как дальше жить?.. Уж лучше там, в Городе... какие-никакие, а всё же люди... — и вдруг решила: — Завтра пойду в Елшановку к участковому, пожалуюсь про паспорт... Будь что будет...

Она приблизилась к окну и, уткнувшись лбом в холодное стекло, упёрла взгляд в тонкую, сотканную паучками между рамами концентрическую паутинку. С другой стороны окна сквозь паутинку на неё глядела луна с окровавленным краем. В рамные щели задувало, и паутинка подрагивала и качалась, и казалось, что и луна качается и подпрыгивает на паутинке, как цирковой акробат на батуте, с каждым прыжком выдавливая из своего тела капельки крови. Но Катерина не замечала этого, как не замечала и ледяного сквозняка, нагло пробиравшегося под халат к её осквернённому лону...

2

Прошлая жизнь, не очень счастливая, но полная надежд, светила ей из глубин юности далёким маячком, и свет его теперь едва пробивался сквозь удушливый туман житейской непогоды.

...Ей виделся февральский солнечный день, снежная горка на Масленице... Она только что съехала вниз и машет стоящим на горке подружкам. Подружки заливаются смехом, машут в ответ и что-то кричат, показывая на мчащиеся под гору санки. Солнце слепит глаза, и она видит только их скачущие в радужной оболочке фигурки. Она зажмуривается и уже собирается подняться на горку, как в тот же миг что-то тяжёлое подрезает её, сшибает с ног, и она падает на кого-то, и этот кто-то дышит ей в ухо влажным ветерком и кричит на весь свет: «Поймаааал!» Замерев от неожиданности и накотившего страха, она видит близко перед собой чьё-то раскрасневшееся лицо с необычайно крупной снежинкой на ресницах!.. Белой, искрящейся светом, неопикуемой красоты, нерукотворной снежинкой!.. Сверкнув необычайным рисунком, под воздействием разгорячённого дыхания снежинка тает, наливаясь тяжёлой прозрачной капелькой... И тут Катерина приходит в себя, по лицу и голосу понимает, что её держит в руках соседский паренёк Васька, которого ребячья молва, посмеиваясь, нарекла её суженым, громко и задиристо провозглашая при встрече:

*Тили-тили тесто,
жених и невеста!
Белая курица
скочет по улице,
клювом тычет,
кочета кличет!
Кочет налетит,
пух полетит!
Ёлки-палки, лес густой,
ходит Васька холостой.
Когда Васька женится,
куда Катька денется?..*

И как она тогда перепугалась! Начала смешно брыкаться, вырываясь из Васькиных объятий, и кубарем скатившись на снег, ударила головой о единственное растущее под горой дерево!.. Её сознание окутал сладкий туман, и в нём расцвели, как прекрасные видения, сверкающие снежинки; они кружили в воздухе, образуя белоснежные круги и кольца, и распадалась, и вновь составлялись, теперь уже в тонкие цепочки и замысловатые, растянутые в воздухе наподобие летящих облаков, фигуры и опять рассыпались; и вот одна из них начала расти, расширяться, образуя тончайшее покрывало, и оно лёгким саваном опало на неё; и всё исчезало, погружаясь во тьму... И она открыла глаза и опять увидела... Васю! Вася, в заснеженной шапке, съехавшей на затылок, в расстёгнутом полушубке, стоял перед ней, переминаясь с ноги на ногу, румянощёкий и перепуганный...

– Ну как? – спросил он, часто хлопая глазами, но голоса его она почему-то не услышала, поняла по губам. – Жива?

И она также неслышно ответила:

– Жива.

– Ну, вот... а я тебя это... домой привёз. Думал... А ты жива, значит?

– Жива, Вася, – также беззвучно отвечала она, обозначив улыбку на обескровленном лице.

– Ну, ладно... А то девки меня клянут... толкуют: убил!.. А ты... жива!..

– Жива, – в третий раз ответила она с трудом прорезавшимся голосом...

– Ну, тогда я... пошёл?..

– Иди...

Слава богу, всё обошлось. Удар был не смертельный и даже не очень болезненный, только сдвинулось что-то в голове, поменялось местами, и стала мерещиться ей бесконечная вереница снежинок, круглых, овальных, в виде солнышка или в виде животных и птиц... И как-то ввечеру руки сами придумали себе занятие... И стала она рукодельницей по наитию, по какому-то сверху ниспосланному сигналу, и прославилась на всю округу мастерицей...

Всё свободное от учёбы время она придумывала узоры, сначала вычерчивая рисунок на бумаге, а потом, глядя на него, плела, пробуя так и эдак связывать заготовленные за день травинки, соломинки. Позже в ход пошли припасённые в хозяйстве для различных нужд верёвочки, распущенные на узкие разноцветные полоски куски завалявшейся материи, старые нитки и бабушкин костяной крючок... И вот только ниток не доставало. В местный магазин их завозили очень редко. Приходилось заказывать всем, кто отправлялся по какому-либо случаю в Город.

Нашлась в деревне и старинная рукодельница, полуслепая бабка Анисья, девочкой служившая у господ в кружевницах. Она с радостью показала ей, что помнила, научила свя-

зывать ниточки друг с другом. Да деревенский плотник дядя Иван, отцовский брат, помогал, чем мог. Токарил понемножку и всё для Катюшкиной пользы, точил из берёзовой или яблоневого заготовки коклюшки, мастерил подставки под матерчатый валик для плетения, набитый соломой – куфтырь, как его называли в старину. А будучи в Городе, покупал для любимой племянницы спицы, крючки, булавы, шнуры и тонкие хлопчатобумажные нитки, смотанные в толстые круглые бобышки. Она насаживала бобышку на вбитый в берёзовую колоду гвоздь, и бобышка таяла, разматываясь, и тянулась белая нить, преображаясь под руками мастерицы в прозрачное белое кружево. А однажды дядя Иван отыскал где-то самоучитель по старинному плетению кружев, а к нему прикупил серебряную нить, намотанную косым крестом на тонкую картонную трубочку...

Теперь она не отводила взгляда от щедрых природных красот, до которых ей раньше не было дела: подолгу рассматривала в саду яблоневые листья, источенные плодовой жук до прозрачного кружева; изучала сотканые паучками миниатюрные пружинистые гамачки, перекинутые с растения на растение, в которых нежились, сверкая в лучах утреннего солнца, дрожащие шарики росы; любовалась многолистными, словно набранными умелой рукой, веточками рябины с иссечёнными мелким зубчиком краями; пыталась запомнить размашистый контур кленового листа; удивлялась роскошеству павлиньих перьев папоротника в лесу и стройности молоденьких ёлочек. Ну, это летом. А зимой её пленяли затейливые морозные узоры на окне и бесконечное разнообразие снежинок. Мороз-Красный нос, вот у кого можно было поучиться неподражаемому фантастическому художеству! И все свои впечатления и наблюдения она перерабатывала в своём воображении, создавая причудливый кружевной хоровод скатертных подзоров, занавесей, полосок-прошивок.

Её сказочное рукоделие не оставалось без внимания. К ней и относились теперь как-то по-особому, в один год она стала местной достопримечательностью. Деревенские парни, те, что постарше, с уважением посматривали на ладную девичью фигурку, спешащую к колодцу за водой, и не пропускали случая подхватить из рук мастерицы ведро, наполненное бултыхающейся студёной влагой; в её присутствии не сквернословили и всячески сдерживали дурные эмоции; а те, которые помладше, при встрече с ней смущённо изгибали мальчишеские тела и, жмурясь, как от солнца, чесали в затылках. Да и девки ходили за ней хвостом по всей деревне или толпились летними вечерами под окнами нелепинской избы, то замирая от лицезрения чудесного ремесла, то горячо шепча и споря о чём-то; а зимой напрашивались в избу и тихо сидели на лавке, в уголке, как в театре, зачарованно прислушиваясь к звонкому перестуку деревянных коклюшек и не отводя сверкающих глаз от кружевной пены, ниспадающей из-под проворных Катюшкиных пальчиков, когда она вязала крючком. И пели потихоньку старые песни о главном:

*...Стоит берё-ёза у опушки,
Грустит одна-а на склоне дня.
Я расскажу-у берё-ёзе, как подружке,
Что нет любви хорошей у ме-еня...*

Кто-то из девушек принёс однажды репродукцию с картины Верещагина «Кружевница», аккуратно вырванную из «Огонька», которую тут же торжественно прикрепили булавами к стене, судача при этом о поразительном сходстве Катюшки с верещагинской мастерицей. И Вася, старше её года на три и в шутку прозванный «женихом», стал невольно присматриваться к ней – она это отметила сразу – заглядываясь на её необычайно гибкие и проворные пальцы и глубокие тёмные глаза.

Да и взрослые от её рукоделья приходили в немой восторг и чуть ли не кланялись при встрече. А председатель колхоза, наслышанный о деревенской искуснице, посулил устроить

в клубе выставку Катюшкиной «вязальной продукции», как он выразился однажды осенью на собрании по итогам жатвы.

Ей тогда минуло двенадцать. И вскоре она замахнулась на большие композиции, задумав связать три праздничных кружевных скатерти с цветными подкладками: белой, синей и красной. Посреди полотна по её замыслу располагались, как солнышки, несколько кругов с цветами, один большой и два поменьше рядом. В отступе от края она наметила широкую полосу с ёлочками и коняшками, а на самом подзоре должны были повиснуть ажурные снежинки с серебряной нитью по контуру. Одну скатёрку она закончила, взялась за другую, но тут случилось несчастье в семье: отец сошёлся с училкой из Елшановки и бросил их...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.